

А. А. НЕСТЕРЕНКО

Лев Толстой

и русская литература

Пособие к историко-литературному

спецкурсу "Творчество Л. Н. Толстого

в контексте русской и мировой литературы"

Введение

Для уяснения существа эстетических воззрений любого писателя, в том числе и Толстого, сама собой ясна необходимость рассмотрения всех суждений писателя об общих и частных явлениях искусства, бывших в поле его зрения. В разрозненных замечаниях и высказываниях художника о различных фактах эстетической деятельности нетрудно усмотреть какую-то главную, руководящую точку зрения, даже в том случае, если взгляды художника не остаются неподвижными, а эволюционируют вместе с развитием его духовного облика. Это особенно справедливо в применении к Толстому, мировоззрение которого и в области эстетики, как и в других областях, характеризовалось большой органичностью и относительной устойчивостью, несмотря на те глубокие кризисы, через которые пролегал его духовный путь.

В системе эстетических взглядов Толстого суждения его о тех или иных фактах словесного искусства, занимают, естественно, преимущественное место. Они заключены не только в таких трактатах, как "Что такое искусство?" или "О Шекспире и о драме", но и в статьях педагогического характера, в предисловиях к отдельным произведениям различных писателей; далее - в обширной переписке, в дневниках самого Толстого, а также в дневниках, записях и воспоминаниях тех лиц, которые были близки к Толстому, общались с ним или являлись его эпизодическими собеседниками. Систематизация всех, очень многочисленных высказываний Толстого о литературе и о писателях является, с одной стороны, естественным комментарием и конкретной иллюстрацией к его основному эстетическому трактату "Что такое искусство?", с другой стороны - прямым дополнением к этому трактату, поскольку из них извлекаются такие данные, которых в трактате мы не найдем. Существенно и то, что эти высказывания по времени или предшествовали появлению в свет статьи "Что такое искусство?" или следовали за ней. Это дает возможность в ряде случаев доискаться генезиса основополагающих мыслей Толстого об искусстве, и проследить дальнейшее их развитие.

Ввиду обширности задачи ограничиваем себя материалом исключительно русской литературы, причем намеренно привлекаем не все высказывания Толстого на этот счет, а лишь наиболее существенные и определительные.

Само собой разумеется, что в смысле достоверности и наибольшей авторитетности для нас особенно важны те мысли Толстого по занимающему нас вопросу, которые письменно закреплены самим Толстым, относительно менее авторитетно все то, что со слов Толстого записано его слушателями и собеседниками и не только потому, что мы не всегда можем быть уверены в полной адекватности услышанного и записанного, особенно если запись делалась спустя более или менее продолжительное время после беседы Толстого или с Толстым, но и потому, что сам Толстой, естественно, более строго относился к тому, что он писал, чем к тому, что в зависимости от поводов, обстановки, случайностей настроения высказывал устно, часто походя и наспех. Однажды в беседе с близкими ему людьми - С. Д. Николаевым и Д. П. Маковицким - Толстой сам провел резкую грань между

различными формами своих высказываний: "Я вас, друзей своих, прошу, когда меня не станет, помнить об этом; не придавайте большого значения тому, что я говорю в разговорах. Я иногда говорю зря, необдуманно, под впечатлением минуты... К письмам я отношусь с большей осторожностью, но вполне ответственным чувствую себя только за то, что отдаю в печать и что побывало у меня в корректурах". Та же мысль - еще более энергично - выражена Толстым в его дневнике 25 августа 1909 года: "Очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать. Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом".

Однако, при всей серьезности этого предостережения, мы не можем пренебрегать ни записями о суждениях Толстого, ни тем более письмами и записками Толстого, не предназначавшимися им самим для печати. Мы не должны лишь терять из виду факта неравноценности материала. Что же касается мыслей Толстого, записанных посторонними людьми, то в большинстве случаев достоверность и правдивость записей гарантируется, во-первых, авторитетом тех, кто их делал, во-вторых, тем, что в огромном большинстве случаев содержание этих записей не расходится в основном с материалом, который мы черпаем из самих писаний Толстого. Существенно важно также и то, что записи, сделанные различными лицами, не только не противоречат друг другу, но часто совпадают даже в подробностях. Это важное доказательство их точности и правдивости. А если принять во внимание, что в своих письменных высказываниях, особенно в письмах, обращенных к писателям, Толстой не свободен был иногда от условностей светского этикета, не позволявших ему вполне откровенно говорить о том, что он думал по поводу того или иного произведения автора - своего современника, то устные беседы с посторонними лицами о литературе и писателях, когда Толстой не был стеснен никаким этикетом, в ряде случаев окажутся отражающими подлинные его взгляды точнее и правильнее, чем лично занесенные им на бумагу приговоры и оценки. Как на образчик расхождения между тем, что думал о писателе Толстой, и как он отзывался о нем в личных своих письмах к нему, можно привести следующий факт, сообщаемый писателем С. Т. Семеновым в его "Воспоминаниях о Толстом": "Я только что прочитал "Взбаламученное море" Писемского, показавшееся мне мало художественным. Но при издании Писемского было приложено письмо Льва Николаевича, полное любезностей по адресу Писемского. Л.Н. объяснил, что это был обычный акт вежливости, и что он никогда Писемского большим писателем не считал".

Те мысли и эстетические убеждения Толстого, в частности его суждения о литературе, которые нашли себе выражение в трактате "Что такое искусство?", явились плодом долголетних упорных раздумий его на эту тему. Первое зерно, из которого вырос трактат, - в записи дневника 1851 года. Здесь размышления на тему о соотношении литературы народной и литературы для образованных классов, о том, что подлинно ценно в литературе то, что может "выпеться" из души писателя: "Ламартин говорит, что писатели упускают из виду литературу

народную, что число читателей больше в среде народной, что все, кто пишут, пишут для того круга, в котором живут, а народ, в среде которого есть лица, жаждущие просвещения, не имеет литературы и не будет иметь до тех пор, пока не начнут писать для народа. Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорил Гоголь, "выпеться из души сочинителя": что же доступного может выпеться из души сочинителей, большей частью стоящих на высшей точке развития? Народ не поймет. Ежели даже сочинитель будет стараться сойти на ступень народную, народ не так поймет... У народа есть своя литература - прекрасная, неподражаемая, но она не подделка, она выпевается из среды самого народа".

Вопрос о взаимоотношении литературы народной и литературы для образованных классов занимает Толстого и в период его работы в яснополянской школе. Так, в первом же номере основанного им журнала "Ясная Поляна" (1862) в статье "Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы" он рассказывает о своих попытках приобщить постепенно учеников к пониманию художественной литературы. После "Робинзона", который дался ученикам нелегко и вызвал у них скуку и почти отвращение, Толстой принялся за пушкинского "Гробовщика", казавшегося ему, как и прочие повести Пушкина, хорошо построенным, простым и понятным для народа. Но его постигло полное разочарование: "Гробовщик" произвел еще меньшее впечатление, чем "Робинзон". Та же участь постигла и Гоголя, когда прочитана была "Ночь перед Рождеством". Единственно понятные и доступные народу книги - это книги, "писанные не для народа, а из народа, а именно сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок".

В четвертом номере того же журнала Толстой высказывает убеждение в том, что все, нами изданное в области музыки и поэзии, создано ложными путями, не имеющими никакого значения в сравнении с теми требованиями и достижениями, которые мы имеем в народном искусстве, "Я убедился, - пишет Толстой, - что лирическое стихотворение, как, например, "Я помню чудное мгновенье", произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о "Ваньке-ключнике" и напев "Вниз по матушке по Волге", что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что мы так же настроены как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости". Далее идет жалоба Толстого на то, что он годами бесплодно бьется над тем, чтобы уяснить своим яснополянским ученикам красоты Пушкина, в то время как сборник Рыбникова сразу же удовлетворил их поэтические требования. И - что самое важное - такое предпочтение сборника Рыбникова Пушкину сам Толстой, в результате сличения первой попавшейся у Рыбникова песни с лучшим произведением Пушкина, считает вполне законным.

В номере 12-м "Ясной Поляны" за тот же год Толстой печатает полемическую статью "Прогресс и определение образования", где пишет: "Литература, так же, как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа. Есть "Современник", есть "Современное слово", есть "Современная летопись"... есть сочинения

Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды... Я убедился, в чем может убедиться каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение "Бориса Годунова" или "Историю" Соловьева, надобно этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям".

В этих суждениях - первые наброски тех мыслей, которые более полно будут развиты в трактате "Что такое искусство?". Явное предпочтение, отдаваемое Толстым искусству народному перед искусством образованных классов, не только потому, что первое доступнее для народа, чем второе, но и потому, что оно качественно выше, - это предпочтение непосредственно связано с пропагандой Толстым искусства всемирного и всенародного, так настойчиво проводимой в трактате об искусстве.

Симпатии Толстого к народно-поэтическому творчеству сохранились им на всю жизнь. О них свидетельствуют и собственное признание Толстого, заявившего в составленном им самим списке авторов и произведений, определивших его литературное развитие, что былины и народные сказки оказали на него огромное влияние, и частое обращение Толстого во вторую половину своей литературной деятельности к материалу народных легенд и сказок, откуда заимствовались не только сюжеты, но и стиль, и язык, и, наконец, указания жены Толстого, его друзей и собеседников. Оттуда же и расположение Толстого к поэзии Кольцова, Шевченко, Никитина, Сурикова, у которых он, видимо, ощущал близкое соприкосновение с народно-поэтической стихией, и нелюбовь к Крылову, басни которого Толстому казались неудачной подделкой под народность. Как очень показательный факт, лишний раз свидетельствующий об отсутствии у Толстого чувства истории, тут же должно быть приведено позднейшее его суждение о "Слове о полку Игореве". Толстой этот единственный по своему художественному значению памятник древней Руси считал, как и Краледворскую рукопись, подложным. "Это (то есть "Слово..." - А.Н.) сочинено, - говорил он, - на гомеровский эпический лад... Мне не нравятся и Нибелунги, они не поэтичны. Старинные же былины очень люблю: Добрыня, Садко, Микула Селянинович, Илья Муромец..."

Любовь Толстого к народной поэзии и народному творчеству, помимо причин идеологического свойства, объясняется тем, что в искусстве, как и в других отправлениях духовной жизни человека, он ценил прежде всего органическое и непосредственное выражение чувства, то, что может "выпеться из души". Всякая искусственность в искусстве, всякая условность и нарочитость, не оправданные потребностью в искреннем и от взволнованного и напряженного чувства идущем выражении, были для Толстого признаком дурного искусства. Оттого Толстой не любил вообще стихов, предпочитая им прозу. Рационалистическое отношение к искусству не мирилось у него с условностью и неизбежной деланностью стихотворной формы. Свидетельства о нерасположении Толстого к стихам многочисленны. Сам Толстой о стихах писал следующее: "Я не люблю стихов вообще. Трогают меня, думаю -

преимущественно - как воспоминания молодых впечатлений, некоторые, и то только самые совершенные, стихотворения Пушкина и Тютчева". В другой раз он высказался о стихах гораздо резче: "Писать стихи - это все равно, что пахать и за сохой танцевать. Это прямое неуважение к слову". Ощущение стиха как стиха, с присущими ему специфическими особенностями формы, не только не играли у Толстого никакой роли, но, наоборот, он ценил лишь те стихи, в которых это ощущение явственно не обнаруживалось. "Я вообще не люблю стихов, - говорил он. - Стихи должны быть очень хороши, так, чтобы в них не чувствовалась *la facture* (деланность), подыскивание рифм. У нас Пушкин, Лермонтов, Тютчев - три одинаково больших поэта". Прочитав "Иоанна Дамаскина" А. К. Толстого и оставшись недовольным прочитанным. Толстой на вопрос своей собеседницы: "Вы не любите стихов?" ответил: "Нет, кроме самых больших талантов, как Пушкин, Тютчев. У Пушкина не чувствуешь стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер, чувствуешь, что иначе нельзя сказать; а здесь я чувствую, что то же самое можно сказать на тысячу различных ладов".

Эта абсолютная адекватность мысли и выражения ее считались Толстым неперенным условием подлинного поэтического произведения. И стихи потому так часто его не удовлетворяли, что в них он в большей степени, чем в прозе, склонен был усматривать наличие случайных, не оправданных необходимостью элементов. От стихов, как и от прозы, Толстой требовал прежде всего правдоподобия, точного соответствия действительности и точности языка. "За обедом, - пишет В.Булгаков - стали говорить о стихах. Л. Н. высказался против стихосочинительства. "Я сегодня видел ландыш, совсем готовый бутон, должен вот-вот распуститься. Почему ландыш называют серебристым? Ничего нет похожего на серебро... Это сказано только для рифмы, для рифмы к "душистый". Эпитет должен рисовать предмет, давать образ, а это совершенно фальшивое представление. И так у всех поэтов, и у Пушкина тоже". В другой раз, в беседе с С. А. Стахович, Толстой указал, что Пушкин в стихе "...Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь" - употребил слово "как-нибудь" вместо "кое-как" неправильно, исключительно для рифмы. Также неудачен, по мнению Толстого, стих из пушкинской "Тучи", "...и молния грозно тебя обвивала", потому что молния не "обвивает". Прочитав стихотворение Фета "В дымке-невидимке выплыл месяц вешний", Толстой указал автору на то, что разновременные явления, бывающие весной (одно в апреле, другое в мае) у него происходят одновременно. И Фет исправил стихи, прислушавшись к указанию Толстого.

Иногда Толстой в своих оценках стихов бывал явно придиричив и несправедлив. Не любя стихов А. К. Толстого, он не нашел у него ни одного хорошего стихотворения и в письме к Фету от 7 декабря 1876 года, упоминая об одном не из худших у Толстого "Милый друг, тебе не спится...", привел из нее строчку: "Не скрипят в сених ступени" и спросил при этом: "Отчего же не сказано, что не хрюкают в хлеве свиньи?". Беспристрастное чтение стихотворения убеждает в том, что эта строка на месте во всех отношениях, и острота Толстого бьет явно мимо цели.

Однако в иных случаях Толстой ценил стихи как раз за то, в чем он им большей частью отказывал: за возможность именно в стихах наиболее точно и образно выразить какое-нибудь ощущение или впечатление. Когда однажды в 1909 году в обществе Толстого зашел разговор о стихах, он, сославшись на свою нелюбовь к стихам, сказал: "Так трудно выразить свою мысль вполне ясно и определенно, а тут еще связан рифмой, размером. Но зато у настоящих поэтов в стихах бывают такие смелые обороты, которые в прозе невозможны, а между тем они передают мысль лучше самых точных". Далее следовала цитата из Фета, в которой Толстой выделил строку "Дыханьем ночи обожгло". Тут он увидел чисто тютчевский прием и добавил: "Как смело; и в трех словах вся картина!".

В другой раз, в том же году, по поводу стихов какого-то полуграмотного крестьянина Толстой сказал: "Это странная вещь, - я стихов не люблю, но понимаю, что ими можно выразить часто гораздо короче и сильнее то, чего так сказать нельзя. Как это у Тютчева: "паутины тонкий волос блесит на праздной борозде". Здесь это слово "праздной" как будто бессмысленно, и не в стихах так сказать нельзя, а между тем этим словом сразу сказано, что работы кончены, все убрали, и получается полное впечатление. В умении находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев на это был великий мастер". Однажды, задолго до этого, Толстой как будто даже стал на защиту стихов. Когда Фет пожаловался ему, что в литературе распространяется мнение о том, что поэзия отжила свой век и лирическое стихотворение стало невозможным, Толстой сказал: "Они говорят - нельзя, а вы напишите им отличное стихотворение: это будет наилучшим возражением".

И в стихах, и в прозе Толстой, по свидетельству А.Ф. Кони, усматривал три элемента: самый главный - содержание, затем любовь автора к своему произведению, наконец, техника. "Только гармония содержания и любви, - говорил он, - дает полноту произведению, и тогда, обыкновенно, третий элемент - техника - достигает совершенства сам собою".

*

*

*

Несколько слов о структуре нашего историко-литературного пособия.

Во "Введении" содержится методологическая установка на данную тему. Объем материала данной темы может быть увеличен до бесконечности, ибо Толстой объял своим существованием духовную жизнь России и всего XIX века и десяти лет XX-го, и прежде всего - ее великую литературу...

Г л а в а 2

"...человек выдающийся по силе, уму, искренности" (Л.Н. Толстой и А.И. Герцен)

В 1901 году Толстой говорил: "Если бы меня спросили, кого из русских писателей я считаю наиболее значительными, я назвал бы: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, которого наши либералы забыли, Достоевского, которого они совсем не читают. Ну, а затем: Грибоедова, Островского, Тютчева".

Что касается А. И. Герцена, то Толстой ценил его не только как человека выдающегося и блестящего ума, но и как писателя с большим литературным дарованием. И литературное дарование Герцена, видимо, больше всего импонировало Толстому. "Ведь если бы выразить значение русских писателей, процентно, в цифрах, - говорил Толстой в 1893 году, - то Пушкину надо бы отвести 30%. Гоголю - 20%, Тургеневу - 10%, Григоровичу и всем остальным около 20%. Все же остальное принадлежит Герцену. Он изумительный писатель. Он глубок, блестящ и проницателен". Если в конце 50-х и начале 60-х годов Толстой относился к Герцену отрицательно, то такое отношение, видимо, вызвано было резким расхождением тогдашнего Толстого с политическими взглядами Герцена. В 1861 году состоялось личное знакомство обоих писателей в Лондоне, и после этого постепенно Толстой проникается все большей и большей любовью к Герцену...

Будучи за границей в первый раз (1857), Толстой не смог повидаться с А. И. Герценом, которого знал заочно по его печатным работам. Интерес к этому человеку у Толстого не затухал вплоть до второго заграничного путешествия (1860-1861), во время которого 4 августа 1860 года делает характерную запись в дневнике: "Читал Герцена - разметающийся ум - большое самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество – русские".

А знакомство состоялось в Лондоне в феврале 1861 года. "Живой, отзывчивый, умный и интересный - рассказывал впоследствии Толстой, - Герцен сразу заговорил со мною так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у кого уж потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей...".

Конечно, не только старшинство Герцена (Толстой на 16 лет моложе него) было причиной такого восхищенного восприятия, а масштабы ума, образованности, эрудиции и гражданской значительности Герцена возбуждали благонаправленный интерес к нему Толстого.

20 марта он пишет первое письмо Герцену. Письмо это не преследовало никаких практических целей; Толстой просто почувствовал "потребность написать словечко" "знаменитому изгнаннику". Все письмо написано под обаянием сильной, даровитой, родственной Толстому личности Герцена. Толстой выражает свою радость по поводу того, что близко узнал Герцена; ему "весело думать", что есть на свете Герцен, "такой, какой есть". Толстой восхищался тем, что Герцен способен "сбежать за микстурой для Тимашева", - то есть написать то, что он написал. Здесь Толстой имеет в виду едкую статью Герцена, напечатанную в новогоднем номере "Колокола" за 1861 год под названием "Тимашев, сидите дома, как Бейст (реакционный министр иностранных и внутренних дел в Саксонии, - А. Н.), - не ездите, как Гайнау Г". Статья Герцена была написана по поводу приезда в Лондон начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением Тимашева. Герцен напомнил ему судьбу австрийского фельдмаршала Гайнау, который после подавления рабочего движения в Вене также приехал в Лондон; здесь он посетил одну фабрику, на которой рабочие его узнали и избили.

Далее Толстой пишет Герцену: "Дай-то бог, чтобы через шесть месяцев сбылись ваши надежды". Толстой не поясняет, о каких надеждах Герцена он говорит. Объяснение этой фразы нужно искать, по-видимому, в том, что Герцен в то время еще не оставил надежд на либеральные реформы Александра II, придавая особое значение отмене крепостного права. В словах Толстого чувствуется скептическое отношение к этим надеждам Герцена; тем не менее, он интересуется предположенной Герценом "иллюминацией", то есть банкетом по поводу манифеста 19 февраля 1861 года.

Свое мнение о том, какое действие на помещиков произведет освобождение крестьян от крепостной зависимости, Толстой выразил в словах: "Все будут либералы теперь, когда интересы будут наткаться только на стеснения, а не поддерживаться ими". Толстой разумел здесь помещиков-крепостников, которым новый порядок несет "стеснения" и которые поэтому сделаются "либералами", то есть недовольными правительством.

26 марта - новое письмо Герцену. Прежде всего, ему хотелось высказать свое мнение о последней (шестой) книжке "Полярной звезды", которую он нашел "превосходной". Главное содержание этого номера составляли материалы о декабристах и о Пушкине и несколько глав "Былого и дум". В числе этих глав была и статья Герцена о Роберте Оуэне. Толстой выражает полное согласие с основными утверждениями Герцена в этой статье. "Ваша статья об Оуэне, - пишет он, - увы! слишком, слишком близка моему сердцу".

Статья Герцена о Роберте Оуэне - одна из самых сильных и обличительных статей против западноевропейского - в особенности английского - буржуазного общественно-политического строя.

Герцен в этой статье, как и Оуэн, отрицает все религии (основателя христианства он относит к числу "преобразователей и предтеч переворотов"), отрицает буржуазную идеологию, особенно яростно восставая против "мещанского болота английской жизни" и "нравственной несвободы англичан", отрицает, как и Оуэн, уголовный суд, находя, что в преступлениях виноваты не

столько сами преступники, сколько общественные условия, порождающие преступления, и что поэтому "мстить всем обществом преступнику мерзко и глупо", что "целым собором делать безопасно и хладнокровно столько же злодейства над преступником, сколько он сделал, подвергаясь опасности и под влиянием страсти, отвратительно и бесполезно".

Герцен не верит в близкое падение "старого порядка". "Неразвитость масс, не умеющих понимать, - говорит он, - с одной стороны, и корыстный страх - с другой, мешающий понимать меньшинству, долго продержат на ногах старый порядок". "Появление людей, протестующих против общественной неволи и неволи совести, - не новость", но "опыт не доказывает, чтобы их утопии были осуществляемы". "Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать, но они с ужасом отпрядают, когда дунет на них свежий ветер разума и критики". Появление людей, "протестующих во имя разума", "доказывает без малейшего сомнения возможность человека развиваться до разумного понимания". Но для Герцена остается неразрешенным вопрос, "может ли это исключительное развитие сделаться общим".

Герцен допускает возможность того, что "будущее войдет иначе, приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем, и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его". Но "то, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет", и, "принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтоб люди скоро почувствовали потребность здравого смысла". Природе надолго хватит "исторического бреда".

В качестве примера, иллюстрирующего его мысли, Герцен упоминает о Наполеоне. В противоположность Оуэну, мечтавшему достигнуть всеобщего благополучия, Наполеон "добра желает себе одному, а под добром разумел власть". Он "пролил крови больше, чем все революции вместе". Видя, что французы "страстно любят кровавую славу", Наполеон "стал их натравливать на другие народы и сам ходить с ними на охоту". Популярность Наполеона объясняется "одинаковостью вкусов" его и толпы: *"он сам принадлежал толпе и показал ей ее самое..., возведенную в гения и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния, вот отчего толпа плакала о нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет"*.

Эта характеристика Наполеона как гения толпы должна была быть очень сочувственна Толстому, так как сам он точно так же смотрел на Наполеона (см. роман-эпопею "Война и мир").

Не существует, говорит далее Герцен, никакого вперед предназначенного пути истории. "Бесконечный прогресс впереди" - такая же сказка, как золотой век позади. *"Ни природа, ни история никуда не идут и потому готовы идти всюду, куда им укажут, если это возможно, то есть, если ничего не мешает"*. Люди живут для настоящего, "для себя, а не для совершения высших предначертаний и не для скорейшего достижения бесконечного развития совершенства".

"Мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань

истории... Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется... И это не все: мы можем *переменить узор ковра*. Хозяина нет, рисунка нет, одна основа да мы одни-одинехоньки".

“Будущность людей, народов” зависит “от нас с вами”.

Толстой пишет Герцену, что его статья об Оуэне - "правда - quand meme [во что бы то ни стало], что в наше время возможно только для жителя Сатурна, слетевшего на землю, или русского человека". По мнению Толстого, в статье Герцена содержится такая правда, которую мог высказать разве только житель другой планеты, то есть существо, не опутанное с детства теми предрассудками, в которых воспитываются европейские народы, или же "русский человек", совершенно свободно относящийся к европейской культуре и цивилизации.

Только по двум пунктам Толстой расходится с Герценом.

Во-первых, ему кажется неубедительной та часть статьи Герцена, где он "на место разбитых кумиров" ставит "самую жизнь; произвол, узор жизни". Толстой полагает, что поставленный на место отвергаемых Герценом "огромных надежд бессмертия, вечного совершенствования, исторических законов и т.п., этот узор - ничто, пуговка на месте колосса". По мнению Толстого, ничего не нужно ставить на место разрушенных "огромных надежд" - "ничего, исключая той силы, которая свалила колоссов". (Герцен этой силой считал разум).

Во-вторых, Толстой протестует против того общего пессимистического взгляда на историю человечества, каким проникнута статья Герцена, несмотря на его неопределенные заявления о том, что "мы можем переменить узор ковра" и что будущее народов "зависит от нас с вами". Толстой говорит Герцену: "Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это - тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим". Толстой указывает, откуда он ожидает появления этого нового "пузыря истории". "И этот пузырь - говорит он, - есть для меня твердое и ясное знание моей России". "Моей Россией" Толстой называл Россию народную, то есть, в его представлении - Россию крестьянскую. В основах народной, то есть, крестьянской жизни думает Толстой найти разрешение всех неразрешенных историей вопросов.

Далее Толстой в своем письме к Герцену переходит к критике манифеста 19 февраля. Он недоволен ни содержанием, ни слогом манифеста.

Подобно тому, как в 1858 году в записке о дворянстве Толстой отказывал Александру II во славе великого преобразователя России, так и теперь он оскорблен за народ тем, что "тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу", в то время как в действительности манифест содержит "одни только обещания".

Уже обосновав свою позицию сторонника философии патриархального крестьянства, Толстой с прежним вниманием прислушивался к голосу "с того берега" - к голосу А.И. Герцена.

В частности, одним из важных событий духовной жизни Толстого в конце 80-х годов было чтение именно Герцена. 9 февраля 1888 года В. Г.

Черткову он писал: "Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель, как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых писателей с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. Доказывать несостоятельность революционных теорий - нужно только читать Герцена, как казнится всякое насилие именно самым делом, для которого оно делается. Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита и убийств, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции и всего того ужаса правительства и консерваторов, и всего того зла... И хороший, искренний человек... Оттого, что человек этот говорит о правительстве правду, говорит, что то, что есть, не есть то, что должно быть, опыт и слова этого человека старательно скрывают от тех, которые идут за ним. Чудно и жалко". И через несколько дней - второму своему другу, художнику Н. Н. Ге (как и Толстой, лично знавшему Герцена): "Что за удивительный писатель. И наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган".

По-видимому, тогда же Толстой обдумывал, как устранить эту ошибку и несправедливость и как переиздать в каком-то виде Герцена в России - например, выпустить книгу в издательстве "Посредник".

В 1888 голу, да и позднее, Толстого особенно интересовала книга Герцена "С того берега" - горькое раздумье русского писателя о европейских буржуазных революциях. Толстой был убежден в неизбежности крушения старого мира и не уверен вполне в путях достижения нового, справедливого строя. Именно в этой книге Толстой находил больше всего близкого собственным мыслям.

В трактате "Царство божие внутри вас" Толстой привел большую цитату из третьей главы "С того берега" - "LVII год республики, единой и нераздельной". Беспощадно критикуя буржуазную республику, установившуюся после поражения революции, Герцен прославлял отвагу людей умеющих оторваться от старого мира, "лишиться всех удобств" и плыть по безбрежному океану в новую жизнь. Вот те "слова Герцена", на которые, несколько сокращая их (сами эти сокращения весьма характерны), ссылается Толстой:

"Что будет там, за стенами оставляемого нами мира?

Страх берет - пустота, ширина, воля... Как идти, не зная куда, как терять, не видя приобретений!...

Если бы Колумб так рассуждал, он никогда не снялся бы с якоря. Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой - вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если бы народы переезжали из одного готового garni в другой, еще лучший, - было бы легче, да беда в том, что некому заготавливать новых квартир. В будущем хуже, нежели в океане, - ничего нет, - оно будет таким, каким его сделают обстоятельства и люди.

Если вы довольны старым миром, - старайтесь его сохранить, он очень

хил и надолго его не станет; но если вам невыносимо жить в вечном раздоре убеждений с жизнью, думать одно и делать другое, выходите из-под выбеленных средневековых свобод на свой страх. (Далее в цитате опущена революционная мысль Герцена: "Отважная дерзость в иных случаях выше всякой мудрости" — А. Н.). Я очень знаю, что это нелегко. Шутка ль расставаться со всем, к чему человек привык со дня рождения, с чем вместе рос и вырос. Люди готовы на страшные жертвы, но не на те, которые от них требует новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями, плодов, которыми мы хвастаемся три столетия (далее Толстой опустил: "которые нам так дороги". - А. Н.), лишиться всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дику юность образованной дряхлости, сломать свой наследственный замок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построятся, без сомнения, гораздо лучше нас?".

Приведя эту цитату из Герцена, Толстой от себя писал: "Так говорил почти полстолетия тому назад русский писатель, своим пронизательным умом уже тогда ясно видевший то, что видит теперь уже всякий самый мало размышляющий человек нашего времени: невозможность продолжения жизни на прежних основах и необходимость установления каких-то новых форм жизни".

Толстой ясно сознавал истощенность насильственного государственного режима, который правил в России того времени, и здесь он в лице Герцена имел самого сокровенного единомышленника. Но революционную "технология" в переустройстве российской действительности политического эмигранта Герцена Толстой принять не мог, ибо мир виделся ему в ненасильственных отношениях между людьми. Он осуждал непомерное богатство одних (людей своего круга, в том числе и себя) и огорчался бедности других (прежде всего - многомиллионного трудового крестьянства). Но справедливость в решении этого давнего социального противоречия лежит, по его убеждению, не на пути резкой революционной встряски (по Герцену), а средствами личного нравственного самосовершенствования. Поэтому критический пафос книги "С того берега" он щедро цитирует в своем программном трактате, но своевольно отсекает те герценовские мысли-фразы о решительных формах переустройства российского общества, которые не соответствовали его религиозному учению. Да и общая интерпретация, которую Толстой предлагает в письме к своему единомышленнику "толстовцу" Черткову по поводу книги Герцена, откровенно "подверстана" под учением Толстого. Но вот что интересно: попутно возникла парадоксальная ситуация, когда (но теперь уже совершенно объективно!) с "царством Божиим в себе" Лев Толстой горячо возмущается официальным запретом в России на все труды материалиста и атеиста Александра Герцена...

Здравый смысл всегда располагается поверх идеологических барьеров...

И в 90-е годы Толстой "нуждается" в Герцене с его умом и бесспорным авторитетом энциклопедиста. Писательница Л. И. Веселитская (В. Микулич)

приводит признание Толстого в середине мая 1893 года: "Сейчас перечитывал Герцена, и с большим удовольствием. И не потому, что внешне так блестяще и изящно, а потому, что видишь человека, которому было ясно, что делается вокруг... И такой писатель не входит в учебники, а зубрят о Жуковском, который был за смертную казнь!" (В. Микулич. Встречи с писателями. - Л., 1929. - С. 25-26).

В июле того же года Толстой в письме к Н. Н. Ге называет "прекрасной" его мысль написать воспоминания о Герцене. "Только не торопитесь, - советует Толстой художнику-другу, - а постарайтесь подробнее, то есть ничего не забыть и посжате написать".

В июне 1897 года Толстой читает "о последних днях Герцена".

В марте 1903 года читает вслух воспоминания Т. П. Пассек о Герцене.

В июле 1905 года читает "растроганным голосом" первую главу рассказа Герцена "Долг прежде всего": "Ничего подобного нет в русской литературе". "Кто виноват?" — робкое, а это — бойкое".

Месяц спустя Толстой прочел вслух рассказ Герцена "Поврежденный" и восхищался им: "В мыслях "поврежденного", - считает он, - Герцен высказывает свои мысли, которые он не берет на себя, чтобы прямо высказывать, а это так можно кидать необдуманно, смело... Герцен поэтическая натура и философская".

Октябрь 1905 года. Запись в дневнике: "Читал Герцена "С того берега" и восхищался. Следовало бы написать о нем так, чтобы люди нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их".

В этом же месяце запись в дневнике Д. П. Маковицкого: "Лев Николаевич сказал, что читал М. А. Фонвизина, и прибавил: "Как Герцен прав, отзываясь с таким уважением о декабристах. Как они относились к народу! Они, как и мы (Л. Н. упомянул и Кропоткина), через няnek, кучеров, охотников полюбили народ... У французов этого чувства к народу - связи сердечной с прислугой, с народом - нет... Англичане, когда пишут о народе, передают язык народа исковерканным; то же самое и французы. У немцев народу надо учиться hochdeutsch [литературному языку], а не литераторам у народа его языку. А мы все учимся у народа. Ломоносов, Державин, Карамзин, - до Пушкина, Гоголя, - и даже о Чехове можно сказать, да и я".

Тот же Маковицкий через год свидетельствует: Толстой сказал, что получил книгу Чаадаева, но ему "скучно" ее читать. На слова сына С. Л. Толстого, что "это все устарело", Толстой заметил: "А Герцена всегда будут читать".

Июнь 1908 года. Из воспоминаний А. Б. Гольденвейзера, жены С. А. Толстой и Д. П. Маковицкого: "Чтение "продолжения" "Доктора Крупова" Герцена - "Aphorismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова". Отзыв Толстого: "Очень сильно, остроумно, но с еще большим пессимизмом"; "Чтение Герцена и о Герцене"; "Толстой опять говорил о Герцене: "Герцен удивительный

в художественном смысле. Я другого такого не знаю. Остроумие, небрежность, блеск"...

Глава 3

"...вот где учишься жить" (Л.Н. Толстой и И.А. Гончаров)

В январе 1852 года, работая над двумя дополнительными главами 2-й редакции "Детства", Толстой коснулся проблемы "писатель-читатель-критик". Он не жалуется критиков, ибо они, по его мнению, не озабочены оценкой литературных произведений, а лишь упражняются в остроумии, часто в оскорбительной для автора форме. "Достается" при этом журналу "Библиотека для чтения", библиографический отдел которого "не давал понятия о ходе литературном, о значении и достоинстве новых книг".

Поэтому-то произведения лучших современных писателей остаются, по мнению Толстого, не оцененными критикой.

Толстой перечисляет этих лучших, по его мнению, современных писателей, не оцененных критикой: это Дружинин, Григорович, Тургенев, Гоголь, Гончаров. Произведения всех этих писателей, кроме Гончарова, названы Толстым в списке книг, произведших на него большое впечатление в его молодые годы. Присоединение к их числу Гончарова показывает, что Толстой уже в то время хорошо знал и ценил его "прелестную" "Обыкновенную историю" и "Сон Обломова", которыми тогда был известен И.А. Гончаров. Рекомендуя Валерии Арсеньевой прочесть "Обыкновенную историю", Толстой писал ей 7 декабря 1856 года: "... Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее".

В период появления "Детства" автобиографический жанр был широко распространен в нашей литературе. Причина этого в последние годы царствования Николая I заключалась, в частности, в том, что, вследствие невозможности по цензурным условиям касаться основных вопросов общественной жизни того времени, литература направляла свое внимание преимущественно на явления внутренней жизни человека и их развитие (см. "Семейство Тальниковых" Н. Станицкого, т. е. А. Я. Панаевой и Н. А. Некрасова; различные "Записки студента", "Дневник сельского учителя", "Дневник бедного священника"; переводные "Признания" Ламартина, "Замогильные записки" Шатобриана, "Сказка моей жизни" Андерсена и др.).

Именно тогда же в журналах появилось и несколько повестей из жизни детей, как "Неточка Незванова" и "Маленький герой" Достоевского, "Адам Адамыч" М.И. Михайлова, "История Ульяны Терентьевны" П.А. Кулиша. Сам Толстой, прочитав повесть Кулиша, записал в дневнике 29 сентября 1852 года: "Читал новый "Современник". Одна хорошая повесть, похожая на мое "Детство", но - он

было написал: "хуже", а затем поправил: "неосновательная".

Если не считать превосходных страниц, посвященных детству Обломова в романе Гончарова, то можно сказать, что повесть Толстого "Детство" была первой в русской литературе попыткой художественного изображения внутренней жизни ребенка. Этим объясняется ее необыкновенный успех и в литературных кругах, и среди читателей "Современника".

Гончаров был свидетелем споров Толстого с Тургеневым и дружеским ему "бесценным триумvirатом" (Анненков, Боткин, Дружинин) и, как видно, был на стороне своего упрямого младшего собрата-спорщика. Он вспоминает об этом в письме к Толстому от 22 июля 1887 года: "Помню ваши иронические споры, всего больше с Тургеневым, Дружининым, Анненковым и Боткиным о безусловном, отчасти напускном или слепом их поклонении разным литературным авторитетам: помню комическое негодование их на Вас за непризнание за "гениями" установленного критикой величия и за Ваши своеобразные мнения и взгляды на них. Помню тогдашнюю Вашу насмешливо-добродушную улыбку, когда Вы опровергали их задорный натиск".

О явной симпатии Гончарова к Толстому говорят и следующие строки из этого же письма: "Помню и вечер, проведенный мною с Вами в спектакле. Давали "Завтрак у предводителя" Тургенева. Мы сидели рядом и дружно хохотали, глядя на Ланскую, Мартынова и Сосницкого, которые дали плоть и кровь этому бледному произведению".

Толстому не безразлично было мнение Гончарова о своем творчестве. Так, его волновала в 1856 году реакция писателей на повесть "Утро помещика". Когда автор 29 ноября прочитал свой рассказ в редакции "Отечественных записок", то Дудышкин и Гончаров, как с грустью записал он в дневнике, только "слегка похвалили" его произведение.

Но это вовсе не повлияло на объективно-положительное отношение Толстого к творчеству Гончарова. Судя по написанному им 16 апреля 1859 года письму Дружинину, Толстой живо интересовался всеми последними литературными новинками и, в частности, только что напечатанным тогда романом Гончарова "Обломов", о котором говорит с восхищением. "Обломов", — пишет Толстой, — капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от "Обломова" и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет - это что "Обломов" имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и не временный, в настоящей публике". Толстой оговаривается, что он нашел в романе Гончарова и некоторые недостатки, о которых он не будет писать в письме, но хочет поговорить при личной встрече с Дружининым.

Дружинин передал Гончарову похвалу Толстого, которой Гончаров был очень обрадован. Вскоре (13 мая) он написал Толстому благодарственное письмо, в котором говорил: "Слову Вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как Вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда. Ваше воззрение на искусство имеет в себе что-то новое, оригинальное, иногда даже путающее своей смелостью; если не во всем можно

согласиться с Вами, то нельзя не признать самостоятельной силы. Словом, угодить на Вас нелегко, и тем мне приятнее было приобрести в вас доброжелателя новому моему труду".

Через посредство Ф.М. Достоевского мы узнаем отзыв Г'ончарова о романе "Анна Каренина", о котором Федор Михайлович подробно говорит в своем июльско-августовском номере "Дневнике писателя" за 1877 год.

Разбор "Анны Карениной" Достоевский начинает с характеристики автора романа. Толстой для Достоевского - "огромною Россию человек", "один из самых значительных современных русских людей". Далее Достоевский описывает свою недавнюю случайную встречу на улице с одним "милым и любимым" им романистом, который ("на вид человек не восторженный") сразу заговорил с ним об "Анне Карениной" и поразил его "твердостью и горячею настойчивостью своего мнения" об этом романе. Речь идет, очевидно, о Гончарове. Собеседник Достоевского сказал ему относительно "Анны Карениной": "Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас из писателей может поравняться с этим? А в Европе - кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?".

Достоевский выражает полное согласие с мнением своего собеседника. "Книга эта, - пишет он, - прямо приняла в глазах моих размер... того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе".

...С И.А. Гончаровым Толстой познакомился в ноябре 1855 года, по возвращении из Севастополя. Затем была редкая переписка, которая с 1859 года прекратилась. В июне 1887 года Толстой передал Гончарову через А.Ф.Кони "сердечный" привет и выражение особой симпатии". В ответ автор "Обломова" написал, что память о нем Толстого "тронула" его "помимо всяких литературных причин": "В те еще дни, когда я был моложе, а Вы были просто молоды, и когда Вы появились в Петербурге, в литературном кругу, я видел и признавал в вас человека, каких мало знал там, почти никого, и каким хотел быть всегда сам. Теперь я уже полуослепший и полуоглохший старик, но не только не изменил тогдашнего своего взгляда на Вашу личность, но еще более утвердился в нем. Если этот взгляд мой не превратился во мне в живое дружеское чувство, то это с моей стороны только потому, что между Вами и мною легла бездна расстояния и постоянной разлуки".

Толстой, конечно, тотчас же пригласил Гончарова сотрудничать в "Посреднике". Письмо это не сохранилось, но содержание его ясно из ответа Гончарова от 2 августа 1887 года.

Сообщив, что он теперь совсем не пишет и лишь "начиркал весной" несколько эскизов для журнала "Пива" с небольшим предисловием, Гончаров далее продолжал: "Из этого предисловия Вы ясно сразу усмотрите, почему я никак не мог бы, обладая даже таким талантом, как Ваш, идти вслед за Вами работать в тот рудник, куда Вы меня так ласково зовете, говоря, что "если б я захотел, то мог бы написать и для этого читателя", то есть для обширного круга читателей, "явившихся к Вам на смену прежних"...

Вы правы - это надо делать. Но я не могу: не потому только, что у меня нет Вашего таланта, но у меня нет и других Ваших сил: простоты, смелости или отваги, а может быть, и Вашей любви к народу. Вы унесли смолоду все это далеко от городских куч в ваше уединение, в народную толпу".

В приписке Гончаров, однако добавил: "Вы правы: писать надо для народа — так, как Вы пишете; но многие ли это могут? Мне, однако, жаль, если Вы этому писанию пожертвуете и другим, то есть образованным кругом читателей. Ведь и Вы сами пожалели бы, если бы Микель-Анджело бросил строить храм и стал бы только строить крестьянские избы, которые могли бы строить и другие. Пожалели бы Вы также, если б Диккенс писал только свои "Святочные рассказы", бросив писать великие картины жизни для всех".

В этом же письме Гончаров дает оценку драмы Толстого "Власть тьмы", которую считает "сильным произведением", "художественную сторону" которого "ценят немногие, тонко развитые люди, большинство же читателей не понимают, многие даже отвращаются, как от напитанной слишком сильным спиртом склянки. Они не выносят крепости духа. Я высоко ценю эту вещь".

В конце этого же года Гончаров сообщил еще, что попросил издателя "Нивы" посылать Толстому журнал "на весь будущий год".

Через полгода после гончаровского восхищенно-почтительного письма Толстой, касаясь последних, не лучших, произведений Гончарова "Слуги" и "На родине", отметил у их автора "узкий кругозор". А в 1899 году, перечитывая вслух роман Гончарова "Обломов", высоко отозвался об "идеале его", но "историю любви и описание прелестей Ольги" посчитал "невозможно пошлыми". Это не было ворчанием литературного "мэтра", а соответствовало изменившемуся мировоззрению Толстого, а вместе - и иной эстетике, все дальше уходящей от книжности ("литературщины") в область простых и ясных морально-нравственных ценностей. Именно поэтому еще в самом начале "перелома" в мировидении (1883) Толстой подразделил крупных писателей на "литераторов" (не озабоченных высоко-моральными, религиозными проблемами) и "не-литераторов": "Тургенев - литератор, Пушкин был тоже им. Гончаров - еще больше литератор, чем Тургенев. Лермонтов и я не литераторы". Субъективность этих толстовских расценок основана, однако, на четких объективных онтологических критериях.

Доказательством глубокой продуманности высказанного однажды убеждения может служить признание Толстого 1901 года: "Я любил Тургенева как человека. Как писателю, ему и Гончарову я не придаю особенно большого значения. Их сюжеты - обилие обыкновенных любовных эпизодов — и типы имеют слишком преходящее значение".

И подводя итог толстовского отношения к И.А. Гончарову как человеку и писателю, можно сослаться на дневниковую запись Толстого от 20 апреля 1909 года, где зафиксирован его ответ на вопрос преподавателя французского языка в Харькове А. Мазона: Гончаров был "сдержанным, корректным и приятным человеком" и по отношению к нему самому "доброжелательным"; а "лучшее, что он (Гончаров. - А.Н.) написал, - "Обыкновенная история" (в беседе с Г.А. Русановым в апреле 1884 года)...

Глава 4

Л.Н. Толстой и Н.А. Некрасов: опыт анализа творческой переключки прозаика и поэта

Тема "Некрасов о Льве Толстом", как и "Лев Толстой о Некрасове", интересна уже в силу сопряжения этих славных и таких разных имен. Но она проще в том смысле, что печатных свидетельств Некрасова о Толстом осталось больше, чем Толстого о Некрасове. Последнее обстоятельство, в первую очередь, и питало наше любопытство.

Н.А. Некрасов считается "литературным крестным отцом" Толстого: это ему, редактору "Современника", неким автором была послана с Кавказа повесть "Детство", затем рассказ "Набег" и продолжение первой повести - "Отрочество"; это он, Некрасов, мужественно деливший себя между литературой и журналистикой, прозорливо угадал в человеке, скрывавшемся за инициалами "Л.Н.Т.", писателя "правды, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе" (Н-12, X, 241)².

Сначала деловая и дружеская переписка, а затем личное знакомство Толстого и Некрасова вкраплены в отрезок времени длиною в 23 года. И так получилось, что в этих взаимоотношениях Некрасов навсегда остался для Толстого редактором, пестуном, а усложненные поиски истины, которые всю жизнь вел великий протестант и поборник справедливости, оказались удаленными от поэзии, наполненной скорбью, гневом и решимостью. Видимо, поэтому Некрасов оставил существенные оценки художественного творчества своего младшего собрата по литературе, а Толстой по отношению к поэзии Некрасова всегда оставался лишь читателем.

Не следует забывать и того, что дружба Толстого с некрасовским "Современником" однажды драматически расстроилась, вследствие идейного раскола редакции, и уже не возобновлялась по существу. Некрасов и Толстой оказались в разных идейных группировках. И без того не слишком прочные контакты совсем ослабли.

Между тем вопрос о соотношении творчества Толстого и Некрасова всегда оставался актуальным. Даже наугад выхваченные параллели интересны для исследования.

Некрасовские тексты цитируются по двум изданиям:

Н.А.Некрасов. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. -М.: 1948-1953;

Н.А.Некрасов. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. -Л.: 1981-...
(Сокращенно: Н-12 и Н-15, затем римскими цифрами указывается том, арабским - страницы).

В самом деле. В чем отличие Петра Ивановича Лабазова из несостоявшейся повести Толстого "Декабристы" от некрасовских декабристов в его историко-революционных поэмах "Дедушка" и "Русские женщины"? Как решается проблема "герой и народ" в "Войне и мире" и поэме "Кому на Руси жить хорошо"? Как освещается народная жизнь в этой поэме и в тогда же написанной "Анне Карениной"? Насколько перекликается образ некрасовского безымянного мужика из стихотворения "С работы" с чертами характера толстовского Платона Каратаева? А когда мы читаем в трактате "В чем моя вера?" о "казни людей такими же людьми" с помощью шпицрутен, гильотин, виселиц, разве не вспоминается некрасовское:

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабана, цепей, топора?.. (Н-15, II, 152).

Уже эти параллели свидетельствуют об определенной взаимоконтекстности этих вроде бы неблизких художественных миров.

Толстой читает Некрасова

В отзыве одного художника о другом, быть может, самое ценное - неповторимость мнения. Толстой, как известно, судил об искусстве своеобразно и вместе с тем нелюбезно. Если учесть это обстоятельство и иметь в виду историю и характер взаимоотношений Толстого и Некрасова, а также не забыть, что они работали в разных родах и жанрах литературы, то станет понятно, насколько сложным могло быть отношение Л.Н. Толстого к поэзии Н.А. Некрасова.

На чем укрепились доверительно-уважительное отношение молодого Толстого к опытному уже литератору, каким был в начале 50-х годов Некрасов? - На общности художнических принципов. Если редактор "Современника" подметил в "Детстве" Толстого "простоту и действительность содержания" (Н-12, X, 176), то лучшей оценки молодой автор не мог и ждать, так как сам дорожил тем же. На фоне рецидивов отжившего выпренье-романтического направления в русской литературе того времени подобное взаимоотношение означало много. Путь Некрасова к его знаменитому сборнику 1856 года пролегал тоже через школу "простоты и действительности содержания". А Толстой в 1853 году записывает: "Пробный камень ясного понимания предмета состоит в том, чтобы ... передать его на простонародном языке необразованному человеку" (ПССТ, XLVI, 286)³. И когда пал Севастополь, защитником которого вместе с "необразованны-

³ Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч.: В 90 т. (Юбил. изд.). - М., 1928-1958. Т.46. С.286. Далее ссылки на это издание даются в тексте главы (ПССТ, римскими цифрами - том, арабскими цифрами - страница).

ми людьми" был и Толстой, то Некрасов в Петербурге написал о "действительном содержании":

О, не склоняй победной головы
В унынии, разумный сын отчизны,

Не говори: погибли мы. Увы! -

Бесплодна грусть, напрасны укоризны (Н-15, 1, 174). Очень близка этому четверостишию дневниковая запись Толстого, сделанная буквально 18 дней спустя: "Я, кажется, сильно на примете у синих (жандармов. - А. Н.) за свои статьи ("Севастопольские рассказы". - А. Н.). Желаю, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть и тоже писать из пустого в порожнее, без мысли и, главное, без цели!" (ПССТ, XLVII, 60).

Несомненно, запись эта могла появиться только после ободряющего письма Некрасова (от 2 сентября 1855 г.), строчку из которого мы цитировали в самом начале. Толстой благодаря Некрасову почувствовал себя писателем, полезным своей стране.

Однажды зимой, уже в Петербурге, мучительно почувствовав свое одиночество, Толстой пошел к Некрасову. Его он застал в подобном же состоянии и, кроме того, больным. Поэт тогда писал одно из лучших своих стихотворений "Замолкни, Муза мести и печали!" Оно очень понравилось Толстому. Не столько жалость к товарищу по перу, сколько общее душевное настроение сблизило их. А стихотворение это, как вспоминал он уже в 1908 г., Толстой запомнил сразу наизусть, особенно первую строфу:

Замолкни, Муза мести и печали!

Я сон чужой тревожить не хочу,

Довольно мы с тобою проклинали.

Один я умираю - и молчу (Н-15. 1. 182).

Общие моменты в литературных судьбах Некрасова и Толстого обнаруживаются подчас неожиданно (но не случайно).

Январь 1857 года. Повесть Толстого "Юность" уже отпечатана для первого номера "Современника". И все-таки и цензура успевает ее повымарать. Оказывается, усиленную зоркость она проявила не зря: за два номера до этого Н.Г. Чернышевский рискнул перепечатать из только что вышедших в свет "Стихотворений" Некрасова "Поэта и гражданина", — "Забытую деревню" и "Отрывки из путевых записок гр. Гаранского"; редактор был строго предупрежден против подобных "нежелательных публикаций". Своим взволнованным чувством близок Толстому и некрасовский "Рыцарь на час". Близок своей пронзительной самокритичностью, гражданским пафосом и демократизмом авторской позиции:

Что друзья? Наши силы не равные,

Я ни в чем середины не знал,

Что обходят они, хладнокровные,

Я на все безрассудно дерзал.

Я не думал, что молодость шумная,

Что надменная сила пройдет —

И влекла меня жажда безумная,

Жажда жизни - вперед и вперед! (Н-15, И, 138).

И особенно вот это:

От ликующих, праздно болтающих,

Обагряющих руки в крови

Уведи меня в стан погибающих

За великое дело любви! (Н-15. II, 138).

Это произведение Некрасов создает в разгар революционного подъема (1862) - страстную исповедь поэта, признание в жажде очищения от конъюнктурных забот, от сделок с совестью, от всего того, что отягчает жизнь истинного борца за свободу народа. И напряженность гражданственного и нравственного чувства Некрасова в этом значительном стихотворении передалась Толстому не случайно. Вспомним, что именно в это время, находясь за границей, Толстой начинает писать роман "Декабристы" - зародыш будущей эпопеи "Война и мир", тогда же, во Флоренции, он с большим волнением знакомится с декабристом С.Г. Волконским. В марте 1861г. в письме к А.И. Герцену дает известную резко отрицательную оценку Манифеста 19 февраля; и вскоре в Брюсселе, по рекомендации того же Герцена, посещает польского революционера Иоахима Лелевеля, портрет которого по возвращении в Ясную Поляну повесил в своем кабинете; а весь остаток 1861г. прошел у Толстого в хлопотах об издании народного педагогического журнала "Ясная Поляна" и организации третьей по счету школы для крестьянских детей. "Реестр" бурной деятельности Толстого в этот период хочется закончить напоминанием о том, что в январе 1862 г. были установлены тайные наблюдения за Толстым со стороны III отделения. Как и Некрасов, Толстой в это время захвачен, словами поэта, "безумной жаждой жизни", т.е. активной гражданской деятельностью.

Кстати, "Рыцарь на час" надолго и глубоко тронул писателя, он вспоминает о нем и спустя 45 лет, в 1907 г., когда читали эти стихи вслух в доме Толстых.

Некрасов как мастер мастеру пишет Толстому в 50-е годы о своем неустанном упорстве в работе над рифмой (к сожалению, письмо это не сохранилось). Это уже разговор профессионалов, не только достойных друг друга, но друг другу доверяющих.

Из дневника Толстого известно, что в сентябре 1884 г. он перечитывал Некрасова, чтобы выбрать стихотворения, подходящие для чтения детям, в один и тот же день читал Тургенева, Салтыкова-Щедрина и Некрасова - "все прекрасно" (ПССТ, XLIX, 121). Жаль, что ни одно из этих произведений в дневнике не названо. А год спустя, сравнивая баллады А.К. Толстого со стихотворениями Некрасова, Л.Н. Толстой говорил, что у его однофамильца не выдержан поэтический тон: "начнет высоко, а кончит куплет уж водевильно", в то время как у Некрасова "тон всегда выдержан от начала до конца, у того (Некрасова. - А. Н.) чутья больше...". В устах Толстого после "Перелома" в мировоззрении, когда далеко не все в искусстве им одобрялось, эта тонкая оценка поэзии Некрасова может считаться высокой похвалой. Кроме того, светская поэзия

А.К. Толстого, представляющая собой иногда стилизацию под славянофильское народничество, мало что могла говорить Льву Николаевичу.

Поликушка-Иван (тип крестьянина 60-х годов XIX века у Толстого и Некрасова)

Толстой читает вслух домашним нравящееся ему стихотворение "Эй, Иван!". Этот отзыв побуждает нас поразмышлять, и не только в плане "выдержанности тона" некрасовского стихотворения. Совершенно очевидно, что в этом случае налицо своеобразная творческая переключка двух писателей-современников.

Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 года, то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов. Такова была и позиция некрасовского "Современника", И хотя в редакции задолго до этого произошло идейное размежевание творческих сил, "ушедший" из журнала Л.Н. Толстой, не сговариваясь с теперешними своими оппонентами, оценил манифест в той же степени, как и они, отрицательно: "...Мужики ни слова не пойму, а мы (передовые люди из дворян. - А.Н.) ни слову не поверим", - писал он о манифесте А.И. Герцену. (ПССТ, LX, 372).

Н.А. Некрасов "отметил" факт крестьянской реформы как редактор вполне определенно: в мартовском номере журнала не было хвалебных статей по поводу манифеста, а были помещены переведенные М.Л. Михайловым "Песни о неграх" Г. Лонгфелло, где говорилось о рабовладельчестве. Была напечатана статья В.А. Обручева "Невольничество в Северной Америке", а чуть позже - поэма Т.Г. Шевченко "Гайдамаки", рисующая народный бунт.

Как человек и поэт Некрасов, резко отрицательно (по словам Чернышевского) встретивший манифест, откликнулся на реформу стихотворением "Свобода", в котором подал голос не восторга, но надежды:

Родина мать! По равнинам твоим

Я не ездal еще с чувством таким!

И в заключение:

Муза! с надеждой приветствуй свободу! (Н-15, II, 127).

Общий "безоблачный" тон стихотворения, не характерный для крестьянских стихов Некрасова, вступал в явное противоречие с позицией "Современника" по отношению к реформе. Поэтому "Свобода" была напечатана лишь в 1869 году.

Л.Н. Толстой же в 1861-62 годах пишет, а в 1863 году публикует повесть

"Поликушка", где "мир рабства" становится главной темой авторского исследования. Сопоставление крепостной забитости мужика и потенциала возможностей народного сознания обретает здесь трагичное звучание. Это был своеобразный художественный отклик Толстого на реформу 1861 года - совсем в духе "Современника", хотя написанный "оппозиционером" этого журнала.

А что же Некрасов? В течение плодотворного "грешневского лета" 1861 года, когда поэт прямо общался с крестьянским миром, были созданы подлинно народные произведения: "На смерть Шевченко", "Похороны", "Дума", "Крестьянские дети", "Коробейники". Они как бы покрывали своей прозрачной и горькой правдивостью "неверный звук" стихотворения "Свобода".

Проходит еще 6 лет - и появляется стихотворение Некрасова "Эй, Иван!" (1867). Оно написано в один год с покаянным стихотворением "Умру я скоро", в котором трогательная мольба о прощении"

За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! прости!.. (Н-15, III, 41)

мотивировалась целым рядом судьбоносных моментов жизни поэта: и гнетущими впечатлениями детства и молодости, и отсутствием творческой свободы, и невольной оторванностью от народа, и уходом от единомышленников.

Будучи великим актом, устранившим многовековое зло, отмена рабства не могла устранить все последствия этого зла, не могла излечить ни барина, ни мужика от той порчи, той деморализации, которая была порождена рабством. "Оскудение" материальное и еще больше нравственное по необходимости должно было продолжаться и после реформы ("дело веков поправлять нелегко" - читаем в поэме Некрасова "Саша"), - и оно было бы еще значительнее и печальнее, если бы ряд других реформ 60-х годов не внес некоторого оздоровляющего начала в русскую жизнь. К сожалению, эти реформы остались незавершенными, и последовавшая вскоре реакция в значительной мере парализовала их благое действие.

Недовольство и сопротивление обманутых и обобранных крестьянских масс было очень велико, особенно в первые два года после манифеста (напомним: повесть "Поликушка" написана именно в это время; к этому же периоду относится и судьба героя некрасовского стихотворения "Эй, Иван!", отнесенного автором к "типу недавнего прошлого"). Весь набор "аргументов и фактов" неладных отношений мужика и барина собран в бедном Иване:

На желудке мало пищи,
Чуть живой на взгляд,
Не прикрыты, голенищи
Рыжие торчат...

На запятках и в передней

Жизнь веками шла.

Выпить может сто стаканов —

Только подноси...

Мало ли таких Иванов

На святой Руси?

И, как результат пьяного угара, - бесшабашное отчаяние:

В Ваньке пляшут все суставы
С ног и до ушей,
Пляшут ноздри, пляшет в ухе
Белая серьга.
Ванька весел, Ванька в духе -
Жизнь не дорога! (Н-15, III, 55-56).

Пьянство, конечно, не красит русского человека; бедность не порок, но и пьянство не добродетель. Все это так. Но вот что вспоминает известный русский юрист и литератор А.Ф. Кони об одном из разговоров с Толстым (конец 80-х годов), где ему пришлось высказать перед писателем свое понимание этого русского порока в людях типа Ивана и Поликушки. Это была "одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели".

"Иногда, простившись со мною, - пишет Кони, — Толстой уходил за перегородку и там что-нибудь разбирал, вновь начинал разговор, но, затронутый или заинтересованный каким-либо моим ответом, снова входил в мое отделение (комнаты "под сводами" — А.Н.), и прерванная беседа возобновлялась. Один из таких случаев остался у меня в памяти. "А какого вы мнения о Некрасове?", - спросил он у меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова и считаю, что он принес огромную пользу русскому молодому поколению, родившемуся и воспитанному в городах, тем, что, вместе с Тургеневым, научил его знать, ценить и любить русскую сельскую природу и простого русского человека, воспев их в берущих за душу стихах; что же касается до его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и во всяком случае считаю, что то, что он был игрок, еще не дает права ставить на его личность крест и называть его дурным человеком. "Он был, - продолжал я, - одержим страстью к игре, обратившейся, если угодно, в порок, но порочный человек не всегда дурной человек. Нередко, вне узких рамок своей пагубной страсти, порочные люди являют такие стороны души, которые многое искупают. Наоборот, так называемые хорошие люди подчас, при внешней безупречности, проявляют грубый эгоизм и бессердечие. Жизненный опыт дает частые подтверждения этому. Игроки нередко бывают смелыми и великодушными людьми, чуждыми жизненной скупости и черствой

расчетливости; пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинной добротой. Недаром Достоевский сказал, что в России добрые люди - почти всегда пьяные люди, и пьяные люди - всегда добрые люди".

.. Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и, сев на "краешек", сказал мне: "Ну, вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил, - это различие необходимо делать!" - и между нами снова началась длинная беседа на эту тему с приведением фактических ссылок и доказательств в подтверждение нашей общей мысли".

Мы имеем здесь еще одно мнение Толстого о Некрасове, высказанное Кони. Это мнение - двухаспектное: о Некрасове-художнике и Некрасове-человеке. Оценка Кони художественного таланта Некрасова носит хотя и общий, но пронизательный характер: любовь к русской сельской природе и простому русскому человеку в его лирических произведениях "пользует" молодых русских, родившихся и воспитанных в городах. Несомненно, что Толстой, написавший трактаты "Так что же нам делать?", "Что такое искусство?", "Исповедь", "народные" рассказы, полностью разделял этот взгляд. Второй аспект отношения Кони и Толстого к Некрасову - "морально-бытовой" - более развернут и носит характер оправдательного приговора по отношению к порочным людям, как правило, добродетельным за пределами этого порока.

А.Ф. Кони написал эту тираду, конечно, ради оправдания известных "недостатков" Некрасова его "литературными и нравственными заслугами".

Но мы можем применить сей высокопедагогичный принцип и к литературному герою Некрасова Ивану, а также к Поликушке Толстого. Трудно сказать, насколько Некрасов считал Толстого своим единомышленником после "раскола" в "Современнике", но написано стихотворение "Эй, Иван!" не случайно: не случайно - в один год с "Умру я скоро...", не случайно и его поразительное фабульное сходство с повестью Толстого "Поликушка".

В самом деле, читая некрасовскую "маленькую поэму", уже со второй строфы:

Род его тысячелетний
Не имел угла... (Н-15, III, 55).

улавливаешь поразительное сходство его судьбы - судьбы "неумытого, угрюмого, оплеванного, вечно пьяного" дворового - с историей толстовского "незначительного и замаранного" Поликушки из одноименной повести. Незадачливый Поликей у Толстого перепробовал все рабочие должности (чистильщик хлева, ткач, садовник, каменщик, коновал). И у Некрасова:

Ремесла Иван не знает,
Делай, что дают:
Шьет, кует, варит, строгают.

"Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало". Таков и Иван:

...Грубит, ворует,
Божится и врет,
И за рюмочку целует
Ручки у господ (Н-15, III, 55).

Если Поликушка равнодушен к игре купеческой барышни "в фортепьян" ("Поиграл бы я, право!.. Я до этих делов ловок"), то и Некрасовский Ванька —

Гитарист и соблазнитель
Деревенских дур... (Н-15, III, 57).

Трагическая история Поликея начинается с набора в рекруты, куда ему подпало идти - и Иванов барин мечтает:

"Лишь бы лоб ему забрили

-Вешайся, потом!" (Н-15, III, 57).

Наконец, мрачная неотвратимость Поликушкиного исхода (повесился) во многом совпадает с шагом отчаяния Ивана, которого "чуть живого сняли с петли". И даже мотивы покушения на собственную жизнь у Поликея и Ивана сопряжены, хотя кроткий толстовский герой умер бессловесно, а герою Некрасова, в силу счастливой случайности, удалось высказать свою сокровенную обиду на господ:

"Хоть бы раз Иван Мосеич
Кто меня назвал!.." (Н-15, III, 57).

Но мотив, побудивший обоих крепостных крестьян рассчитаться с опостылевшей им "развеселой жизнью" таким страшным способом, конечно, един: корень зла не столько в барыне Поликушки и в барине Ивана, сколько в самом типе сложившихся отношений между помещиком и крестьянином, так как эти отношения мешают безопасности эксплуатируемого человека, направлены против единства человека со всеми людьми и поэтому не могут быть защитой от надвигавшегося тогда на деревню "мрачного духа". Тогда - это и в 1861-1862 годах, когда был написан "Поликушка", и в 1867 году, когда появилось стихотворение "Эй, Иван!".

В некрасовском стихотворении, естественно, нет психологизма, которым наделен толстовский Поликушка. Рамками прямых речей ограничено нравственное наполнение самосознания Ивана. Но вот "диалектика души" его вполне прослеживается сквозь восемь строф: от удручающего "выходного" портрета - через тысячелетнюю родословную Ивана, в которой потерялась его человеческая личность, ставшая знаком безремесленничества и пьянства, воровства и бесцельного волокитства - к отчаянию самоубийства - и кульминационной развязке этого "малого эпоса":

"Хоть бы в каторгу уroda -
Лишь бы с рук долой".
К счастью, тут пришла свобода:

"С богом, милый мой!"
 И, затерянный в народе,
 Вдруг исчез Иван...
 Как живешь, ты на свободе:
 Где ты?... Эй, Иван! (Н-15, III, 58).

Иронична авторская позиция относительно "пришедшей свободы". Холодком ужаса веет от авторской констатации насчет "исчезновения Ивана", "затерянного в народе": что может быть страшнее стадного состояния бывшего крепостного? И, наконец, горька риторичность последних вопросов и восклицания, давшего название этой вещи: "Эй, Иван!" Он растворился как личность или умер — что одно и то же. Такая, вот, "свобода", - как бы говорит Некрасов.

Подойдем теперь к этому сложному вопросу и с другой стороны. Вспомним, как некрасовские "крестьяне добродушные" однажды, при виде рыдающего помещика, "подумали про себя" (насчет реформы 1861 года):

Порвалась цепь великая,
 Порвалась - расскочилась:
 Одним концом по барину,
 Другим по мужику!.. (Н-15, V, 83).

Социальная ситуация вследствие крестьянской реформы глубоко отразилась и на положении, на политической деятельности дворянства. Реформа была для русских помещиков своего рода историческим испытанием. И этого испытания русские помещики, в общем, не выдержали. В своем подавляющем большинстве они после реформы не обнаруживали ни заинтересованности, ни способности к решительному хозяйственному переустройству.

Вот как Толстой рисует первое появление барыни в своей повести: "Тут уже (речь идет о вербовке в рекруты - А.Н.) барыня ничего не понимала, — пишет Толстой, — не понимала, что значили тут двойниковый жребий" и "добродетель" (эти доводы приводил приказчик. - А.Н.); она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он, верно, реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня" (ПССТ, VII, 5).

Новый буржуазный лад не прельщал широкие слои консервативного дворянства, и они продолжали эксплуатировать крестьян старыми полу-феодальными способами. Неясности жизненных перспектив сопутствовали мотовство (вследствие этого значительная часть небогатого дворянства приходила к разорению) или хищническая скупка земель.

Это, конечно, отразилось и на политических позициях большинства русского дворянства и дворянской интеллигенции. Получив новые земли при выгодном распределении угодий, остро чувствуя недовольство и возмущение обобранных крестьян, дворянство еще больше, чем казалось, заинтересовано в сильной самодержавной власти. И если до 1861 года

Были зубы - били в зубы,
Нет - трещит скула (Н-15, III, 56)

- как было с Иваном, то теперь дворянство всецело поддерживает репрессии правительства по отношению к народу и демократическим кругам, увлекаясь поэтому религиозно-философскими поисками - в сфере лирического творчества по преимуществу (А. А. Фет). Писатели же, стоявшие на либеральных или консервативно-оппозиционных точках зрения (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой) в период реформы испытывали глубокие идейные колебания, приведшие в дальнейшем к идейному переходу в общедемократический лагерь.

Тема оскудения помещика-дворянина получила детальную обработку в талантливых очерках С.Н. Терпигорева, а вопрос об оскудении мужика, о разложении крестьянского быта, об общине, о городе и деревне, о кулаках и мироедах стал предметом внимательного изучения и отражения для целой школы писателей-народников, истинным основателем которой следует признать Некрасова с его великой поэмой о веселой жизни на Руси, и, определенно, с его "маленькой поэмой" "Эй, Иван!".

Оба писателя одинаково чувствовали "мрачность" шестого десятилетия XIX в. в России, где только что "отменили" крепостное право. Объединить эти два значительных произведения русской литературы 60-х годов позволяет подзаголовок некрасовского стихотворения: "тип недавнего прошлого", то есть тип времени создания - толстовского "Поликушки"! А композиционное завершение повести Толстого и стихотворения Некрасова убеждает нас не только в сходном содержании этих произведений, но и в сходстве их авторских идейных позиций. Ожиданием перемены проникнута и цитированная выше последняя строфа стихотворения, относящаяся ко времени, когда "пришла свобода" (то есть реформа 1861 года): "Как живешь ты на свободе? Где ты?.. Эй, Иван!". И повесть Толстого кончается тоже вопросом: все осталось как прежде, ужас совершившегося забыть нельзя. Жизнь застыла за наигранным весельем Дутловых, возвращающихся домой вместе с выкупленным на потерянные Поликушкой деньги Ильей и провожаемых проклятием купленного ценой человеческой жизни рекрута.

Как видим, на социально-характерологическом уровне сопоставление толстовского и некрасовского **литературного типа** (Поликушка-Иван) не дает возможности оттенить какие-то особенности воплощения этого типа одним и другим писателем. Разница выявляется в анализе родовых и жанровых признаков прозы Толстого и стихотворной речи Некрасова, Но это уже тема специального исследования.

И венцом доброго отношения писателя-мыслителя к поэту-демократу могут служить слова, сказанные Толстым в 1905 году, о том, что в поэме Некрасова

"Кому на Руси жить хорошо" "есть места, из которых видно, что он действительно любил русский народ".

На волне творческой дискуссии

Но последний отзыв ужестораживает: "есть места". Значит, можно думать, другие "места" поэмы (и всей поэзии Некрасова?) Толстому могли чем-то не понравиться?

Если это так, то тому должны быть серьезные причины.

5 мая 1856 года на обеде у Тургенева Толстой, по его словам, был "глупо оскорблен стихом Некрасова" (ПССТ, XLVII, 69). Даже не имея точного сведения, мы можем предположить, какой мыслью поэта мог "оскорбиться" Толстой. Именно в это время среди писателей шли горячие споры о пушкинском и гоголевском направлениях в литературе. Толстой решает этот вопрос независимо от спорящих сторон, совершенно самостоятельно. Он считает "лучшим средством к истинному счастью в жизни" "цепкую путину любви" - любви всеобъемлющей, распространяющейся "и на старушку, и на ребенка, и на женщину, и на квартального" (ПССТ, XLVII, 71). Толстой впервые употребляет понятие "любовь" в том смысле, которым будет проникнуто миросозерцание писателя впоследствии. Раньше он говорил только "о добре". Из этого общего принципа у Толстого складывался также определенный взгляд на назначение и задачи литературы. "Все то, на что нужно негодовать, лучше обходить, - подчеркивает он в записной книжке 29 мая 1856 года. И продолжает: "Для женщины довольно будет и тех вещей, которые не возбуждают негодования, - любви. А у нас негодование, сатира, желчь сделались качествами".

Здесь коренится причина расхождения Толстого с направлением "Современника", которая впервые обозначилась в его письме к Некрасову от 2 июля 1856 года - так называемом письме "о "Современнике" и о злости", по словам самого автора. Считая, что "человек желчный, злой - не в нормальном положении", а "человек любящий — напротив", Толстой, раздражаясь, сетует в письме на то, что Гоголя любят больше Пушкина, что стихи самого Некрасова "любимы из всех теперешних поэтов". Исключение делается для "последних стихов" Некрасова (можно предположить, что это - "Внимая ужасам войны...", "Поражена потерей невозвратной", "Праздник жизни..." или, может быть, "Как ты кротка...", в которых "грусть и любовь, а не злоба, то есть ненависть" (ПССТ, LX, 75). Исходя из этого, можно считать, что в любимом Толстым "грустном" стихотворении "Замолкни, Муза мести и печали!.." концовка:

То сердце не научится любить, Которое устало
ненавидеть

в лучшем случае смущала его: ведь она выражала основную идею стихотворения, неадекватную тогдашним убеждениям Толстого.

Некрасов же любовь и ненависть не противопоставлял. Он видел их единство в разной направленности; любовь - к людям труда, обездоленным; ненависть - к

угнетателям ("Он проповедует любовь / Враждебным словом отрицанья", "...и как любил он - ненавидя", "Клянусь, я честно ненавидел, / Клянусь, я искренно любил!").

К тому же, в письме Толстого "о злости" есть существенное противоречие. Толстой говорит, что быть возмущенным "очень скверно" и в то же время хвалит Белинского за то, что тот искренне "бывал возмущен". И заметив в записной книжке: "все го, на что нужно негодовать, лучше обходить", - он менее чем через две недели набрасывает начало комедии "Дворянское семейство", темой которой служит "окружающий разврат в деревне". Точно так же, говоря, что только "человек любящий" находится в нормальном состоянии, он пишет письмо очень резкое и по тону, и по выражениям, в нем содержащимся.

Некрасов ответил Толстому 22 июля. Он пытается поразить Толстого его же оружием. "Нельзя, - пишет он, - чтоб все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным" (Н-12, X, 283-284).

Затем Некрасов переходит к основному вопросу, затронутому Толстым в его письме. Он пишет: "Вам теперь хорошо в деревне, и вы не понимаете, зачем злиться. Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости - у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — то есть больше будем любить - любить не себя, а свою родину" (Н-12, X, 284).

Толстой ответил Некрасову в начале августа письмом, до нас, к сожалению, не дошедшим. Судя по ответному письму Некрасова от 22 августа, письмо Льва Николаевича было написано в примирительном духе. Он, видимо, старался смягчить тон своего предыдущего резкого письма и писал о различии, которое он делает между Некрасовым-редактором и Некрасовым-человеком. В своем ответном письме Некрасов писал, что он был "несказанно доволен и тронут" последним письмом Толстого и думал о нем "с любовью". И далее в письме Некрасова читаем следующие знаменательные слова о его личном отношении к Толстому: "...ничто случившееся со времени нашего знакомства с Вами не убавило во мне симпатии к той сильной и правдивой личности, которую я угадывал по Вашим произведениям, еще не зная Вас. На мои глаза, в Вас происходит та душевная ломка, которую, в свою очередь, пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только - к выгоде или невыгоде - отсутствием скрытности и пугливости" (Н-12, X, 291).

К этому Некрасов прибавляет еще свое мнение о Толстом как о писателе: "... я люблю еще в Вас великую надежду русской литературы, для которой Вы уже много сделали и для которой еще более сделаете, когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя - есть прежде всего роль учителя и, по возможности,

заступника за безгласных и приниженных" (Н-12, X, 291-292). Но Некрасову еще раз удалось доказать своему упорному оппоненту, что недооценка критического взгляда на жизнь уводит писателя от самой жизни. Летом 1857 года поэт писал:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина (Н-15, II, 46).

Тогда же Толстой (возвратившись в это время из-за границы) 18 августа писал А.А. Толстой почти дословно то же: "В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие" (ПССТ, LX, 222). За шесть дней до этого подобная мысль прозвучала в не дошедшем до нас письме Некрасову, на которое тот веско мог ответить следующее: "Так Вам многое не понравилось вокруг Вас. Ну, теперь будете верить, что можно искренно, а не из фразы - ругаться" (Н-12, X, 360). Это Некрасов намекает на прошлогодние горячие споры Толстого в кругу "Современника". Тут же, как бы укрепляя свои позиции в споре с Толстым, Некрасов спешит сообщить ему о "длинных стихах, исполненных любви (не шутя) к Родине". Стихи (это была небольшая поэма "Тишина") понравились Толстому, но именно в той (первой!) части, где любовь к родине провозглашается хотя и проникновенно, но, так сказать, издалека, в общих чертах (поэма создавалась по возвращении Некрасова из-за границы) — как "увертюра" к разработке этой темы в последующих трех частях:

Все рожь кругом,
Как степь живая...

"Первое превосходно, — писал он Некрасову про эту часть стихотворения, - это самородок". Когда же любовь к Родине, к "народу-герою" Некрасов пытается окрасить в конкретно-исторические тона:

Светлее твой венец терновый
Победоносного венца! (Н-15, IV, 54)

— Толстой здесь бездоказательно нарекает стихи "слабыми и сделанными". Мы не знаем, как прореагировал Толстой на 4-ю часть "Тишины", где говорится о смирении как одной из духовных черт русского народа. Не уточняет Толстой в дневнике и свое мнение ("плохая вещь" - ПССТ, XLVIII, 8) о первоначальном варианте поэмы "Несчастные", напечатанном в 1858 году.

Любопытен факт своеобразной косвенной дискуссии Толстого с Некрасовым... через спор с близким тогда к поэту В.П. Боткиным.

Осенью 1857 года Толстой в письме к последнему рисует мрачную картину

современной ему литературы (вспомним для сравнения приведенную выше полемику с Некрасовым): "Островский говорит, что его поймут через 700 лет, Писемский тоже, Гончаров в уголке потихоньку приглашает избранных послушать его роман... Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время (и не для России теперь, а вообще), что во всей Европе Гомера и Гете перечитывать не будут больше... Наша литература, то есть поэзия, есть если не противозаконное, то ненормальное явление".

Боткин излагает Толстому свое понимание сложной ситуации современной им литературы. Он разъясняет, что обличительные рассказы нужны для пробуждения человеческого самосознания.

В противоположность мнению Толстого, он считает, что "поэзия нормальна, но только для малейшего меньшинства. Да и где же поэтические произведения существуют для большинства? В России появилась литература, понятная большинству. Оскорбленное чувство, как всякое оскорбление, требовало возмездия и бросилось с злым наслаждением читать рассказы о всяких общественных мошенничествах... всякому они были близки и знакомы; явились читатели, которые прежде книги в руки не брали... В тихие интимные созерцания немногих людей истинного искусства - ворвалась наша грубая, гадкая практическая жизнь".

В этом же письме Боткин объясняет причины обращения литературы к обличительству с точки зрения патриотизма: "Вас приводит в недоумение новый путь, который приняла наша журнальная беллетристика; но разве Вы забыли, что Россия переживает первые дни после Крымской войны, ужаснувшие ее неспособностью, безурядицей и всяческим воровством. Пороки, вкравшиеся в русскую общественность и к которым так привыкли, что считали их необходимыми, вдруг показались ужасными, когда пришли в соприкосновение с национальным чувством".

Некрасов и Боткин аналогично излагают Толстому свои сходные позиции по поводу текущего момента в русской литературе, несмотря на некоторые групповые расхождения во взглядах.

Если боткинско-некрасовское влияние в приведенном примере высвечивает прежде всего "источник", определенным образом воздействующий на "объект", то другой факт целиком определяет самостоятельную принципиальную позицию самого Толстого по отношению к старшему товарищу по литературе и редактору Некрасову. Мы имели в виду историю с так называемым "Обязательным соглашением", которое было заключено зимой 1856 года Некрасовым и Чернышевским для объединения крупнейших писателей вокруг некрасовского журнала "Современник". 14 февраля 1856 года состоялось это "Соглашение", по которому с 1857 года Тургенев, Толстой, Григорович и Островский печатают свои произведения только в "Современнике". "Соглашение" воспринималось противниками "Современника" весьма серьезно, о чем свидетельствует хотя бы одно из писем А.В. Дружинина к Толстому, где он, испрашивая позволения печатать его и тургеневскую повесть в 1857 году в своей "Библиотеке для чтения", как бы вскользь замечает, что Григорович (несмотря на "Обязательное согла-

шение" - А.Н.), обещает для "Библиотеки..." свое произведение. В конце концов "Соглашение" не оправдало себя. Верен ему остался только Толстой как самый дисциплинированный участник "Соглашения". Но дело здесь даже не в том, что Толстой отдает свои сочинения в "Современник". Кроме этого, он вместе с Некрасовым ведет борьбу за выполнение соглашения. К началу 1857 года, когда "Соглашение" должно было начать действовать, "голова "Современника" была в одном Боткине, а трудящийся сотрудник у него один - это Толстой", - справедливо замечает тот же Дружинин 26 января 1857 года в письме к Тургеневу.

Некрасов в это время находится за границей. А Толстой выступает за действенность "Соглашения" на стороне Некрасова. Охладев к "эстетическим" идеям Дружинина, в 1857 году Толстой сближается с Боткиным, так что дело тут не столько во "влиянии" Некрасова и Чернышевского, сколько в дружеских чувствах Толстого к Некрасову, которому он решает помочь в редакторских делах. Не углубляясь в эту историю (в частности, не разясняя, почему попытки Толстого спасти "Обязательное соглашение" не увенчались успехом, почему после ликвидации "Соглашения" сам Толстой напечатал в "Современнике" лишь повесть "Альберт"; насколько "виноват" или "не виноват" в развале "Соглашения" Толстой, сам, якобы, намеревавшийся издавать "чисто эстетический журнал"), - коротко мы лишь утверждаем, что в этой истории Толстой выступает на стороне Некрасова. Им движет дружеское чувство к своему "крестному отцу" в литературе. Да и сотрудником "Современника" Толстой, смеем предположить, становится не случайно: его влечет туда прежде всего личность Некрасова - мятущаяся, оригинальная и непредсказуемая; в его идеях видятся ему мысли о добре, о стремлении принести пользу ближнему, - что созвучно с толстовскими мыслями. Дружеские чувства побуждают Толстого помочь редактору в сложные времена для журнала.

Общение с Некрасовым в период сотрудничества в "Современнике" для молодого Толстого было одним из главных этапов жизненного и творческого пути. "Задачи" же "момента" Некрасов и Толстой понимали по-разному. Это, между прочим, отразилось в читательской реакции на их произведения. Секретарь журнала "Беседа" Н. Лысцев вспоминал в 1903 г., что в 60-70 годы демократически настроенные читательские круги признавали "бесспорно высокое почетное место" Толстого как автора "Войны и мира", но "настоящими же властителями дум читающей русской публики оставались в то время Салтыков-Щедрин и Некрасов". Сам Толстой уже после смерти Некрасова, в 1886 году, признавал, что Некрасов, Никитин и другие (поэты "некрасовской школы"), писавшие о народе "сочувственно", делали необходимое, "нужное" дело.

Не удивит нас субъективно-отрицательное отношение Толстого к стихам Некрасова и в период, когда он свою эстетику пытался втиснуть в рамки трактата "Что такое искусство?": "Некрасов никогда поэтом не был" (1899).

Вечный риск субъективного взгляда

Всего точнее отношение Толстого к поэзии Некрасова выражает отзыв, данный в письме к Н. Н. Страхову от 27 января 1878 г., в год смерти Н. А. Не-

красова: "По-моему, его место в литературе будет место Крылова. То же фальшивое простонародничанье и та же счастливая карьера - потрафил по вкусу времени - и то же невыработанное и не могущее быть выработанным - настоящее присутствие золота, - хотя и в малой пропорции и в не подлежащей очищению смеси" (ГТССТ. LXII, 379). Эта оценка, напоминающая, кстати, мнение Г.В. Плеханова (в статье "Н.А. Некрасов"), тем не менее, не истинна хотя бы потому, что противоречит толстовским же положительным оценкам творчества великого поэта, о которых шла речь выше. Но даже в этом, в общем-то, отрицательном, отзыве Толстой указывает на "настоящее присутствие золота" в поэзии Некрасова. Необходимо отметить то, что, по мнению Н.Н. Гусева, "Толстой" не приходилось видеть около себя тех ужасов крепостничества, какие видели в домах своих отцов Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков-Щедрин - и потому Толстой, противник крепостного права, по личным впечатлениям не мог написать ничего, подобного ни хватающим за душу первым главам "Былого и дум" Герцена, ни скорбному стихотворению Некрасова "Родина", ни трогательному рассказу "Муму", ни потрясающей "Пошехонской старине" Салтыкова-Щедрина". Нельзя ни принять в расчет и авторитетного свидетельства А.М. Горького, который пишет, как Толстой в 1901г. "рассказывал о Некрасове - холодно и скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети, а он, отец, знает все недостатки".

Не забудем и того, что в силу духовного склада своего Толстой большей частью равнодушно или даже отрицательно относится к стихотворной поэзии. Поэтому и высказывался о ней реже, чем о прозе, и часто пристрастно. В отношении к русской поэзии Толстой оставался и в своих высказываниях читателем, не заботясь об объективности оценок. В случае же с Некрасовым, как мы видели, определенную роль сыграла и разница в литературно-общественных позициях того и другого. Что касается художественного различия этих двух мастеров русской литературы, один из которых жил и работал в неустанных поисках путей к всеобщей справедливости, а другой был "глашатаем истин вековых", то здесь у каждого было и свое видение мира, и свои средства изобразить этот путь правдиво. И Лев Толстой недаром записал в свою рабочую книжку в год выхода "Стихотворений" Николая Некрасова (1856): "Каждый должен говорить своим языком" (ПССТ, XLVII, 193).

Воистину так!

"Смерть Некрасова, - писал Толстой, — поразила меня. Мне жалко было его не как поэта, тем менее как руководителя общественного мнения, но как характер, который и не пытаюсь выразить словами, но понимаю совершенно и даже люблю - не любовью, а любованием" (ПССТ, LXII, 369). Толстой не мог примириться с "прозаизмами" в стихах Некрасова, но характер поэта — резкий, иногда грубый, но прямой и искренний - импонировал Толстому. И хотя на вопрос, мог ли он быть другом Некрасова, Толстой ответил отрицательно, он любил его как человека "очень правдивого, прямого", "говорившего прямо и просто".

И, конечно же, эти "прямота и простота" характеризуют и стихи, и редакторские пристрастия человека, который мерил русскую литературу одной жесткой меркой. Ею была, как известно, правда, нужная русскому обществу, которую он первым

разглядел в таланте будущего автора "Войны и мира".

И хочется в заключение привести свидетельства толстовского мнения о Некрасове как человеке, ибо в нем больше, чем в деталях творческой эстетики, объективности и здравомыслия. И славно, что Толстой, как бы помня о заслугах редактора Некрасова перед ним, оставил своим современникам свидетельства о поэте Некрасове по-человечески справедливые. "К Некрасову как к человеку, - мы читаем, например, у П.А. Сергеевко (мнение Толстого относится к 1890-1900-м годам и воспринимается как итоговое - А.Н.), - Лев Николаевич относился с симпатией и, видимо, признает его влияние на себя. Однажды кто-то спросил у Льва Николаевича, ясен ли для него Некрасов как человек.

- О, вполне, - ответил Лев Николаевич. - Он мне очень нравился за свою прямоту и отсутствие всякого лицемерия. Всегда он открыто говорил о своих делах и чувствах, доводя иногда даже как бы до некоторого цинизма свою откровенность".

Да и прежде превалировало доброе отношение. Еще в 50-х годах при личных встречах Толстой проявлял, по словам самого Некрасова, "скрытое, но несомненное участие в нем" (Н-12, X, 275). В 70-х годах Толстой пишет Некрасову о том, что с ним связано у него "много хороших молодых воспоминаний" (ПССТ, LXII, 110).

Молодость иногда ошибается. Здесь - не ошиблась: зрелость это подтвердила.

Глава 5

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как мыслители и художники

В беседе с А. Ф. Кони, говоря о существенных элементах, из которых складывается подлинно значительное художественное произведение, Толстой о Ф.М. Достоевском сказал, что у него "огромное содержание, но никакой техники". О "несовершенстве" техники и языка Достоевского Толстой высказывался неоднократно: "Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво - я уверен, что нарочно, из кокетства"; "Достоевский часто так скверно писал, так слабо и недоделано с технической стороны..."; "В его произведениях тот недостаток, что он сразу высказывает все, а дальше размазывает. Может быть, это потому, что ему деньги нужны были".

В отрицательной оценке Толстым техники и языка Достоевского, столь явно субъективной и потому несправедливой, сказала, конечно, разница поэтических культур обоих писателей.

Мирозерцание Достоевского и внутренний строй его личности вызывали у Толстого сложное к себе отношение. Видимо, Толстой очень ценил большую работу духа и напряженность религиозных исканий, которые были так характерны для Достоевского, но положительная система его воззрений была Толстому чужда, тем более, что Толстой и не усматривал у Достоевского

положительных, до конца доработанных воззрений. Вскоре после смерти Достоевского Толстой писал Н.Н. Страхову в ответ на его скорбное письмо по поводу этой кончины: "Как бы я желал сказать все, что я чувствую о Достоевском! Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек... И вдруг читаю — умер! Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу. На днях, до его смерти, я прочел "Униженные и оскорбленные" и умилялся". А через два с лишним года, отвечая тому же Страхову на его известное письмо, крайне отрицательно характеризующее Достоевского, Толстой писал уже следующее: "Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но я вас вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам. Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми преувеличенного его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка и святого человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь - борьба". И далее речь о том, что Достоевский, в противоположность Тургеневу, человек "с заминкой", подобно тому, как бывают с заминкой лошади-красавицы, с виду очень дорогие, но которым из-за "заминки" цена — грош.

Много лет спустя, услышав признание В. Ф. Булгакова (1907), что Достоевский его любимый писатель, Толстой сказал: "Вот как! Напрасно, напрасно! У него так все спутано - и религия, и политика... Но, конечно, это настоящий писатель, с истинно-религиозным исканием, не как какой-нибудь Гончаров". Просматривая выбранные тем же Булгаковым мысли Достоевского (1910), Толстой сказал о них: "Не сильны, расплывчаты. И потом какое-то мистическое отношение... Христос, Христос!.. У Достоевского нападки на революционеров нехороши: он судит о них как-то по внешности, не входя в их настроение".

Но при всем том Достоевского как писателя Толстой расценивал большей частью высоко за "огромное содержание его художественных созданий", хотя и тут не всегда был к нему ровен. Так, в 1885 году он говорил: "Записки из Мертвого дома" прекрасная вещь, но остальные произведения Достоевского я не ставлю высоко. Мне указывают на отдельные места. Действительно, отдельные места прекрасны, но в общем, в общем — это ужасно! Какой-то выделанный слог, постоянная погоня за отысканием новых характеров, и характеры эти только намеченные. По воспоминаниям Г.П. Данилевского, относящимся к тем же 80-м годам, "наиболее сочувственно граф отзывался о Достоевском, признавая в нем неподражаемого психолога-сердцевода и вполне независимого писателя". Ту же высокую оценку Достоевского как психолога находим и в письме Толстого к Страхову от 3 сентября 1892 года. Выше всего из его художественных произве-

дений Толстой всегда ставил "Записки из Мертвого дома", очевидно, за ту силу христианской любви, всепрощения и участия к падшему человеку, какие присущи "Запискам". О своей исключительно высокой оценке их Толстой писал Страхову, говоря, что он не знает лучшей книги во всей новой литературе, включая Пушкина. О ней сочувственный отзыв в трактате "Что такое искусство?", два рассказа из нее - "Орел" и "Смерть в госпитале" вошли в "Круг чтения". Как мы видели выше, Толстой "умилялся", читая "Униженных и оскорбленных"; высоко ценил он, хотя и с оговорками, "Преступление и наказание". Когда однажды Толстой услышал о том, что "Царя Федора Иоанновича" Ал. Толстого сравнивают с "Идиотом" Достоевского, он энергично запротестовал, сказав, что "Мышкин - это бриллиант, а Федор Иванович - грошевое стекло". К "Братьям Карамазовым" у Толстого было неровное отношение. В 1883 году он жаловался на то, что не мог роман дочитать до конца. Недостаток его он видел в том, что все действующие лица, начиная с 15-летней девочки, говорят одним языком, языком самого автора, причем каким-то непонятным, деланным. В 1892 году он писал Софье Андреевне: "Читаем вслух Карамазовых, и очень мне нравится". Перед самым уходом и смертью Толстой очень много читал Достоевского, особенно "Братьев Карамазовых" и, судя по записям в дневнике, находил в этом романе немало недостатков. А за 6 дней до ухода Толстой говорил В.Ф. Булгакову: "читал "Братьев Карамазовых" - вот что ставят в Художественном театре. Как это нехудожественно! Прямо нехудожественно. Действующие лица делают как раз не то, что должны делать... И все говорят одним и тем же языком... Есть отдельные места, хорошие, как поучения этого старца Зосимы... Очень глубокие. Но неестественно, что кто-то об этом рассказывает. Ну, конечно, великий инквизитор... Я читал только первый том, второго не читал"...

В художественной ткани произведений Достоевского и Толстого всегда заметен отблеск их философских исканий. Писатели-мыслители в любой своей повести, в любом своем романе (не говоря о публицистике) выступали с наблюдениями и обобщениями, проникнутыми глубокими и тревожными раздумьями морального, социального, религиозного, эстетического характера. Эти раздумья неотделимы от их собственного художественного наследия. Но к концу их жизненных путей (у Достоевского в 1860-1870-е, у Толстого в 1880-1900-е годы) философская струя в их литературной работе приобрела столь особую силу, что специальные темы "Достоевский-мыслитель" и "Толстой-мыслитель" привлекли к себе исключительное внимание многих исследователей.

Типологическая общность Достоевского и Толстого выражается в том, что при решении кардинальных проблем общественной жизни они обратились не к политике, а к нравственности. Социальный прогресс они мыслили только на путях нравственного совершенствования людей, хотя прекрасно понимали всю глубину и остроту социально-исторических противоречий своего времени. Личные взаимоотношения Достоевского и Толстого по ряду причин не

состоялись, но духовная близость была весьма заметна. Их идейно-творческая переключка без особого труда накладывается, например, на материал произведений "Три смерти", "Война и мир", "Анна Каренина", "Народные рассказы", "Смерть Ивана Ильича" Толстого и "Записки из подполья", "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы" Достоевского. Здесь видна нравственно-философская позиция великих современников в борьбе с индивидуалистическим своеволием; попытки решения проблемы свободы и необходимости с помощью изображения "внутреннего человека" во взаимодействии с внешним социальным миром.

Оба писателя воспринимали свое время как момент "переворота", остро ощущая явления и процессы всеобщего разлада и распада. При всех различиях писателей объединял пафос полного неприятия общественного строя России: Достоевский выразил безысходность страданий городских обездоленных людей, а Толстой всем сердцем воспринял отчаяние миллионов русских крестьян, "потопив" в их наивных консервативных утопиях свои надежды и опасения относительно судьбы России.

В поисках спасения человека и России Достоевский и Толстой, с их общей широтой гуманистического сознания и чувства, не могли не прийти к религии. Вопрос "существования божия" сознательно и бессознательно мучил Достоевского всю жизнь.

Отношение Толстого к религии и ее проблемам резко отличается от восприятий и переживаний Достоевского. Если в течение тридцати-сорока лет жизни Толстой инертно следовал за всякими обрядовыми церковными обычаями, то впоследствии с каждым годом проникался все большим сознанием фальшивости православного учения в его церковном варианте. Толстовская религия шла вразрез с православной ортодоксией и нацелена была на создание лучшего человеческого жизнеустройства. Толстой захотел "действовать сознательно к соединению людей с религией" (Дневник). Изучая историю христианства, Толстой убежденно писал, что плодами всевозможных нелепых христианских догм (вроде "божественности сына" Бога) всегда были только "злоба, ненависть, казни, изгнания, побоища жен и детей, костры, пытки...". В часто повторяемые им слова "религия" и "Бог" Толстой вкладывал нецерковное содержание, резко отличное от понимания этих слов Достоевским. И хотя оба абсолютизировали значение нравственного фактора в понимании исторического развития человечества и апеллировали к религии и Богу, они, тем не менее, использовали этот "препарат" нравственности как бы с разных концов. По меткому выражению В. В. Вересаева, Достоевский шел от жизни и земли - к Богу, Толстой же - наоборот, пробирался от Бога - к жизни, к человечеству. Достоевский решение больных вопросов искал в идеальных ситуациях религиозно-мистической морали (старец Зосима в "Братьях Карамазовых"), Толстой же истину искал в жизненном опыте, в экспериментах своего "центрального героя" (Николенька Иртеньев - Дмитрий Нехлюдов в "Утре помещика" - Оленин - Пьер Безухов - Константин Левин - Дмитрий Нехлюдов в "Воскресении"), примеряя "его" поведение к постулатам "разумной веры".

Религиозные взгляды двух интеллектуальных колоссов неотделимы от их социальных пристрастий. По верному замечанию Толстого, Достоевский был — "весь борьба". Он метался между своими *pro u contra*; погруженный в роковые вопросы своего времени, он без устали искал, находил и тотчас же отрицал найденное и снова искал; дорожа Христом более, чем истиной, он верил и... не верил, - вернее, "обещал" верить (как его Шатов) и вместе с тем погружался в "бездны неверия".

Совсем иную картину жизни раскрывает нам биография Толстого. В своих трактатах и художественных произведениях, полных своеобразных противоречий, но вместе с тем и неиссякаемой веры в человека, Толстой защищал достаточно определенную социальную мысль о победе над злом мира с помощью непротивления злу насилием. Эта мысль, утопичная в своей реальной осуществимости, приобрела, однако, немало сторонников в разных странах мира и даже нашла свое практическое выражение в организации толстовских общин и коммун. Ведь социальная идея бескровного преобразования жизни на земле не только сама по себе эффектна и соблазнительна, но и по существу человечна в самом предельном понимании этого слова. Толстой оказался в окружении своих последователей.

Творчество Достоевского оказало огромное влияние на художественную мысль многих народов, но никаких своих последователей в социальном плане писатель не приобрел. У Достоевского — "все врозь". Его литературное наследство - многообразный, всегда тревожащий, но идейно нестойкий материал для споров и домыслов - "диалогизм", "полифоничность" (М. М. Бахтин), "ничего сложившегося". И очень рискованно говорить о его миропонимании как о законченном. Он всю жизнь *искал* себя.

Страстные же поиски Толстого, которым сопутствовали не менее тяжелые сомнения и колебания, привели, однако, писателя к устоявшимся и вполне определенным, хотя и утопичным, моральным и социальным решениям, с которыми он уже не переставал жить и мыслить во второй половине своего творческого пути (1880-1900-е годы). И не случайно Толстой казался М. Горькому "человеком решенных вопросов". В конце концов он *нашел* себя.

Известно резко отрицательное отношение Достоевского к революциям и революционерам. К его личному творческому опыту переориентации от идей утопического социализма Петрашевского к жесточайшей критике революционной "бесовщины" с почтением относятся во всем мире.

Значительно и весьма своеобразно расходится с отношением к революции Достоевского восприятие Толстым событий, связанных с освободительным движением и революцией в России. Развернувшееся в России в 1905 году революционное движение всецело поглотило внимание Толстого. В очерке "Великий грех" он отметил, что "Россия переживает важное, долженствующее иметь громадные последствия, время". Внеисторично полагая, что замена одного насильнического строя жизни другим, тоже насильническим, и не раз, не разрушит всех назревших проблем человеческого жизнеустройства и, упуская из виду многие социально-политические факторы, Толстой, однако,

проникается верой в "великое историческое призвание" русского народа, сознание которого, по его мнению, "пробуждается" и требует коренного изменения условий жизни. Толстой хочет найти внутренний смысл голоса революции.

В письмах к В.В. Стасову Толстой заявляет о своем отрицательном отношении ко всем вообще кровавым насилиям. И наряду с этим он так осмысливает события революции 1905г.: "События совершаются с необыкновенной быстротой и правильностью. Быть недовольным тем, что творится, все равно, что быть недовольным осенью и зимой, не думая о той весне, к которой они нас приближают".

Он мечтает о "толстовской революции", как назвал взгляды Толстого на освобождение народа В.В. Стасов в письме к нему 18 сентября 1906 года. Ответ Толстого Стасову оттеняет всю двойственность восприятия революции писателем. Он заключает свое письмо словами "Я радуюсь на революцию, но огорчаюсь на тех, которые, воображая, что делают ее, губят ее. Уничтожит насилие старого режима только неучастие в насилии".

Заслуживает всяческого внимания то обстоятельство, что, развивая свою идею бескровного освобождения земли для работающих на ней, Толстой в статье "Великий грех" (1905 г.) ссылается на моральную силу и права людей из народа, которые в прошлом и в будущем, как он верит, разрешали и будут разрешать вопросы владения землей. "Освобождение крестьян в России - пишет он, — совершенно не Александром II, а теми людьми, которые поняли грех крепостного права и старались, независимо от своей выгоды, избавиться от него; преимущественно же совершенно такими людьми, которые готовы были страдать и страдали сами ("не заставляя никого страдать") ради верности тому, что они называли "правдой".

И еще одно "разночтение" необходимо отметить в философском сознании Достоевского и Толстого. Речь идет об антиномии лжи и истины в философских приоритетах того и другого, с чем вообще связан глубокий трагизм в судьбе христианства. Достоевский в гениальной Легенде о Великом Инквизиторе раскрыл не только диалектику свободы и авторитета, но и диалектику истины и лжи в организации царства мира, в организации церкви и государства. Истина, раскрытая Христом, есть истина о бесконечной свободе духа. Великий же Инквизитор, устами которого говорят все желающие организовать мировой порядок, признал истину Христову разрушительной и анархической и для блага людей захотел исправить дело Христа. Выбрав Христа, Достоевский в "Братьях Карамазовых" тем не менее констатирует (конечно, сокрушаясь при этом), что тысячи раз люди утверждали спасение мира ложью и только ложью, а истину видели опасной для самого существования мира.

Ф. М. Достоевский поставил глубокую проблему. По-иному, но столь же радикально поставил ее и Толстой, самый правдивый писатель мировой литературы. Все творчество Толстого направлено против лжи, на художественное

обличение лжи, на которой покоятся цивилизация, государства, организация общества. Нет ничего легче, как критиковать учение Толстого о непротивлении злу насилием. Очень легко показать, что при непротивлении всегда победит зло. Но Толстой надеялся на историческое чудо и во имя веры в это чудо непосредственного вмешательства Бога предлагал рискнуть гибелью общества, государства и цивилизации, гибелью мира, который держится на лжи и насилии, на антибожеском законе. "По сути Толстой требует отказа от социально полезной лжи". С этим и связано необыкновенное правдолюбие его литературного, дневникового и эпистолярного творчества: любовь к правде есть основная добродетель, и мир более всего в ней нуждается; творческое воображение может стать путем познания истины...

Отношение искусства к действительности - камень преткновения эстетики - одинаково волновало реалиста Достоевского и реалиста Толстого.

Творчество Достоевского наполнено жизнью, пропущенной через интеллект писателя, чем отчасти и предопределялась его мучительная надуманность и субъективные авторские решения. Как не раз говорил сам писатель, кроме реальной действительности он всегда видел перед собой какую-то собственную действительность, кажущуюся ему в его воображении - так сказать, действительность над действительностью.

Автобиографизм содержания большинства художественных произведений Толстого очевиден. С этим обстоятельством связана и типичность образов. Уже не говоря о "центральном толстовском герое", и остальные персонажи "целеустремлены". Но, в отличие от Достоевского, Толстой мотивировал поступки и действия героев наиболее естественными причинами. Пошлость и искусственность он считал наиболее страшным "отступлением от пути", то есть от реализма. Искусственность улавливал он и в этой "действительности", какую подчинял Достоевский своим идеям, отражая, как и Толстой, жизнь, но в иной плоскости.

Целые россыпи мыслей мы находим в дневниках и письмах Толстого, который не уставал думать о задачах творческого отражения действительности, с которой он соединял свои реалистические идеи. Эта действительность всегда была для него не выдуманной, не приспособленной для искусства, а живой, конкретной (пример: буквальное *изучение* поля у Бородина, каковым оно было в действительности). Самым "прекрасным" героем своих произведений он считал "*правду*" (вспомним конец второго "Севастопольского рассказа"). Ложь в искусстве, писал он Н.Н. Страхову, "уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается". Писателю, считал он, надо "мало того, чтобы прямо лгать — надо стараться не лгать отрицательно умалчивая". С правдивостью внешне-описательной стороны должны строго сочетаться правдивость, убедительность и естественность проявлений человеческой воли и мысли; эксцентричные душевные движения, "загадочные натуры (кроме разве "старца Федора Кузьмича"), отвлеченные дискуссии героев и героинь - все это чуждо вниманию Толстого.

Из сказанного вытекает примечательное различие самих типов реализма Достоевского и Толстого. Реализм Достоевского предопределен и основан на

его всегда встревоженной умозрительной силе (в эстетическом понимании этого термина), на его творческой инициативе, создающей исключительную, гениально надуманную действительность. Реализм Толстого тоже основан на огромной творческой силе, прозревающей всю окружающую среду жизни, но при этом в границах непосредственно воспринимаемой им естественной действительности.

Совершенно понятно, что содержание и построение характеров у Достоевского и Толстого разнятся - в соответствии с индивидуальными особенностями реалистического метода каждого из них.

У Достоевского почти нет событий и людей, существовавших в каком-то месте, в такой-то день и им "использованных"; у него все взято из общих, жизнью показанных, достоверных, но "безымянных", неконкретных, явлений повседневности. Силой же воображения они получили свою литературную жизнь в образах. Зато в Достоевском налицо огромная инициативная художественная мысль, колоссальная умозрительная сила.

С первых творческих лет, создавая образы типологически "исключительных" героев, Достоевский концентрировал свое внимание на их характерах. Писатель придавал решающее значение этой первоначальной стадии в создании произведений. При этом термин "характер" Достоевский понимал весьма широко, включая в него и психологические, и идеологические черты. Понятия "характер" и "идея" становились у него постепенно почти тождественными. Несколько позже эти понятия чередовались с теоретическим определением "лицо",

С пониманием терминов "характер", "лицо" у Достоевского сопоставим наблюдения над соответствующими представлениями Толстого. Начиная с героев автобиографической трилогии, с военных кавказских и "Севастопольских рассказов", с крестьян в "Утре помещика", с героя и героини "Семейного счастья" - через Ростовых и Болконских, "наполовину" Пьера Безухова - кончая персонажами "Анны Карениной", "Смерти Ивана Ильича", "Отца Сергия", "Крейцеровой сонаты", "Дьявола", "Воскресения" и даже назидательно-притчевых рассказов "Алеша Горшок". "Божеское и человеческое", - всюду обнаружим плоть от плоти черточки характера самого автора, куски лично пережитых или воспринятых писателем впечатлений.

Особенности реалистического метода каждого из двух великих писателей-гуманистов и характерология "населения" их литературных миров предопределили и жанровые своеобразия их творчества. То, что далеко от внимания и вкуса Толстого - мотивы газетной хроники, пародирование, анекдотические вставки, авантурные сюжеты, гротескные сцены, - тем полнятся страницы Достоевского, предопределяя все своеобразие его романтических форм.

В связи со всеми нашими наблюдениями представляется неизбежным уяснить, от лица кого наши великие авторы ведут всякий раз свои рассказы, каковы у них структуры повествования.

Но прежде - небольшая теоретическая справка.

"Повествователь" ("рассказчик") - это, конечно, условность в том смысле, что автор (в процессе создания произведения и в момент восприятия его читателем) как бы устраняется из цепи связи "писатель-читатель", препоручая осуществить эту связь избранному им повествователю (рассказчику). Тут нужно уметь представить "дистанцию" между автором и деланию романов и повестей был бы решительно неудобен писателю, который экспериментально (в известном смысле) создавал исключительные положения, связывая их с исключительными героями и героинями, и вместе с тем сам со всей своей страстью, своим собственным голосом, заинтересованно вторгался в дискуссии и судьбы своих персонажей. Достоевский почти всегда вводил образ какого-то стороннего героя, который мог бы по его заданию, повествуя, судить и рядить все дела и споры в произведении, давая волю своим субъективным, хотя и вполне творчески законным мнениям и зависимым от автора решениям. В творчестве Достоевского роль своеобразного персонажа, автора-спутника играет рассказчик; ему автор перепоручает не только раскрытие всего хода событий в произведениях, но и полнейшее слежение за душевными движениями героев и героинь. Образ этого рассказчика, заботящегося о выразительности рисуемых им художественных картин, тесно связывается Достоевским с судьбами действующих лиц. Его рассказчик наблюдает за каждым их шагом, непрерывно общается с ними, настигая их в любом месте, часто играет роль их конфликта, хлопочет о них, оценивает их дела и мысли и нередко вместе с тем выступает заинтересованным лицом; он любит, он ревнует, он борется с самим собой, то давая волю своим эмоциям, то примиряясь со своими неудачами. Привлечение рассказчика как героя намечаемого произведения становилось у Достоевского прямым и излюбленным творческим приемом. Передавая ему свои авторские функции, Достоевский обеспечил большую свободу своим субъективным идейным суждениям и выражению всего эмоционального тона (ведь собственно-авторская речь всегда требует большей сдержанности и собранности). Видимо, автор считал, что при таком приеме повествования можно шире и своевольнее трактовать исключительные события и ситуации героев и увеличивать свою "силу воображения", одним словом, "надумывать" действительность над действительностью, в которой образ человека, найденное и выношенное своеобразие его характера достигли бы реализма в "высшем" понимании этого слова (терминология писателя). В своей записной книжке Достоевский как-то обронил мысль, выражавшую его сокровенное желание: "При полном реализме найти в человеке человека". Достоевскому не нравилось, когда читатели и критики называли его "психологом". "Нет, - решительно утверждал он, - я лишь реалист в высшем смысле". Это означало изображение всех глубин души человеческой. Понимание реализма вполне согласовывалось у Достоевского с его мыслями об идеях, которым он дает большой ход, в том числе и посредством своеобразной системы повествования...

...Величественны следы, оставленные Достоевским и Толстым в истории мировой культуры. При всех различиях их идейных позиций и приемов художественного письма они вместе, движимые любовью к своему народу, общими творческими усилиями, известными только выдающимся деятелям

искусства, внесли в сокровищницу мировой литературы неизмеримо ценный вклад, рассказав о жизни и людях так, что под их пером невидимые движения человеческой души стали зримыми и понятными.

Глава 6

"...все нравственное - разумно,
а разумное - нравственно"

(Л.Н. Толстой и Н.Г. Чернышевский)

.. Как непреложный факт мы можем констатировать сходное, если не одинаковое с В.Г. Белинским и Н.Г. Чернышевским толстовское понимание искусства и литературы в рамках реалистической эстетики. Об этом говорит 8-й вариант второй и третьей редакций "Детства". "Прекрасное лицо, - говорит он, - природа, живая группа всегда лучше всех возможных статуй, панорам, картин и декораций". Искусственные сравнения с драгоценными камнями, говорит далее Толстой, встречаются у поэтов разных народов, но больше всего у французских. "Бирюзовые и бриллиантовые глаза, - перечисляет Толстой подобного рода искусственные сравнения: - золотые и серебряные волосы, коралловые губы, золотое солнце, серебряная луна, яхонтовое море, бирюзовое небо и т.д.". И Толстой задает вопрос: "Скажите по правде, бывает ли что-нибудь подобное? Капли воды, при лунном свете падающие в таз, и ни капли не похожи на жемчужины, ни таз на море... Я никогда не видал губ кораллового цвета, - продолжает Толстой, - но видал кирпичного; глаз - бирюзового, но видал цвета распушенной синьки и писчей бумаги...".

Так Толстой еще в черновой редакции своего первого значительного произведения определенно и решительно провозглашает принципы реализма, ставшие его знаменем на всю жизнь. Те принципы, которые три года спустя обосновал теоретически Н.Г. Чернышевский в своей диссертации "Эстетические отношения искусства к действительности".

В свою очередь. Н.Г. Чернышевский в своих "Очерках гоголевского периода русской литературы" (1855) отнес Толстого вместе с Гончаровым, Григоровичем, Тургеневым и Островским к числу самобытных, глубоко знающих жизнь, писателей. А в 1856 году критик в своей статье-рецензии по поводу первых произведений Толстого, коснувшись рассказа "Записки маркера" и указав на его исповедально-аналитический тон, отметил, что здесь представлена "история падения души, созданной с благородным направлением". Князь Нехлюдов (первый в творчестве Толстого из ряда его однофамильцев) - главный герой рассказа, которого нам представляет прожженный плут и развратившийся циник маркер, при всем внешнем несходстве с автором, очень напоминает его

внутренним душевным состоянием и моральными страданиями. Не случайно Чернышевский в этой статье отмечает, что поведенную маркером историю князя Нехлюдова "мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту". "Записки маркера" послужили началом тех автобиографических произведений Толстого, в которых он критически оценивал прошлую жизнь, рассказывал о своих ошибках и заблуждениях ("Исповедь": 1879-1882 годы, предисловие к "Воспоминаниям": 1903 год, "Верьте себе": 1906 год и др.).

Другими словами, но о том же Чернышевский в своей статье-рецензии 1856 года, указав на "чистоту нравственного чувства" как на одно из "совершенно особенных достоинств" таланта Толстого и его автобиографических героев, писал, что "только при этой непосредственной свежести сердца можно было рассказать "детство" и "отрочество" с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают истинную жизнь этим повестям... Без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их".

Другую черту уникального таланта молодого писателя Толстого Чернышевский поименовал "диалектикой души" героев его произведений, замечательное умение показать, как одно состояние человека переходит в другое, в результате чего герой в финале качественно меняется в морально-нравственном отношении по сравнению с моментом его первого появления на страницах произведения (Николенька Иртеньев в повестях "Детство" и "Отрочество", ротмистр Праскухин из рассказа "Севастополь в мае", Нехлюдов в повести "Утро помещика", Дмитрий Оленин в повести "Казачи" и т.д.). Отдавая должное при этом первому в русской литературе психологисту М.Ю. Лермонтову ("Герой нашего времени"), Чернышевский тонко подмечает различие психологического мастерства у Лермонтова и Толстого, а именно: при всей глубине душевного анализа Печорина автор не являет нам эволюцию его переживаний, герой статичен на протяжении всего романа, здесь нет толстовской "диалектики души".

Новаторство молодого писателя - всегда признак истинного таланта. Чернышевский указал на это в вышеназванной статье-рецензии. В напечатанной в 1857 году рецензии на главы из "Романа русского помещика" (впоследствии — "Утро помещика") Толстого Чернышевский, приветствуя писателя, взявшегося за остросоциальную тему взаимоотношения помещика и крепостного крестьянина, обнаружил высокое мастерство Толстого не только в описании быта крестьян, "но, что гораздо важнее" - в передаче "их взгляда на вещи". Это тоже было впервые в русской литературе.

Но к середине 1856 года обозначилось расхождение Толстого с направлением "Современника", сотрудником которого был Н.Г. Чернышевский. В письме к Некрасову от 2 июля 1856 года Толстой весьма неодобрительно (но бездоказательно) отзывался о Чернышевском. Но на основании записей в дневнике Толстого о его встречах с Чернышевским в декабре 1856 года и в январе 1857-го можно сказать с уверенностью, что высказанный Некрасову ("в

злости", по выражению самого Толстого) несправедливый взгляд на личность Чернышевского исчез у Толстого при ближайшем знакомстве с ним.

Некрасов ответил Толстому 22 июля. Предупредив, что ни в одном пункте он с Толстым не согласен, Некрасов далее берет под свою защиту Чернышевского. Не входя в объяснение того, за что он ценит Чернышевского, которого в то время он ставил уже настолько высоко, что, уезжая за границу на лечение, передал ему свой голос в редакции "Современника". Некрасов пытается поразить Толстого его же оружием. "Нельзя, - пишет Некрасов, - чтоб все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным".

Характерно то, что эмоции Толстого по адресу Чернышевского "наружу" не выплескивались, а Чернышевский как талантливый литературный критик и радетель за русскую литературу не упускал возможности еще и еще раз горячо поддержать талант своего становящегося известным литератором ровесника (они оба родились в 1828 году). Мы уже упоминали об оценке Чернышевским "Утра помещика". Действительно, обстоятельную и глубоко верную (в смысле прогнозирования развития писательских приоритетов Толстого) оценку этого фрагмента дал критик в статье "Заметки о журналах", напечатанной в №1 "Современника" за 1857 год.

"Граф Толстой, - писал Чернышевский, - умеет переселяться в душу помещика, его мужик чрезвычайно верен своей натуре, - в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Толстого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат (имеются в виду военные кавказские и севастопольские рассказы о которых Чернышевский писал в своей первой статье-рецензии. — А.Н.). В новой сфере его талант обнаружил столько же наблюдательности и объективности, как в "Рубке леса". В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата".

Кратко передавая содержание рассказа, Чернышевский нисколько не сомневается в искренности стремлений Нехлюдова "жить для блага своих крестьян". "Это у него не фраза, а правдивое дело", - замечает Чернышевский.

Далее он делает длинную выписку из "Утра помещика", содержащую разговор Нехлюдова с Чурисом, по-видимому, главным образом для того, чтобы привлечь внимание читателей "современника" на нарисованную Толстым картину народной нищеты, и заканчивает свой обзор словами: "Но если бы мы захотели указать на удачные лица мужиков, на все правдивые и поэтические страницы, нам пришлось бы представить слишком длинный перечень, потому что большая часть подробностей в "Утре помещика" прекрасны".

Значение "Утра помещика" в истории русской литературы, кроме той верности изображения психологии русского крепостного крестьянина, которая отмечена Чернышевским, определяется еще и тем, что в этом рассказе впервые в художественной русской литературе XIX века был поставлен вопрос о крепостном праве как причине бедности крестьян. В то время как Тургенев в "Записках

охотника" и Григорович в "Антоне-Горемыке" и "Деревне" с большой силой обрисовывали гнет крепостничества над личностью крестьянина, но не касались экономической основы крепостного права. Толстой устами Нехлюдова прямо задает Ивану Чурису вопрос: "Отчего вы так бедны?". И из ответа Чуриса вытекало с полной очевидностью, что главной причиной крестьянской бедности является крепостное состояние.

Толстой, конечно, вполне разобрался в тех похвалах себе, какие он прочел в статьях Чернышевского, и не мог не признать, что похвалы эти справедливы. Уже из первой статьи он увидел с полной очевидностью, что критик обличительного направления Чернышевский, последователь Белинского, несравненно глубже и тоньше понял сущность его дарования, чем критики "эстетической" школы.

Таким образом, лед был сломлен; открылась возможность дружелюбного личного общения.

Первое свидание Толстого с Чернышевским после появления его статьи произошло в квартире И.И. Панаева 18 декабря 1856 года. "Чернышевский мил", - записал в этот день Толстой в своем дневнике.

Менее чем через месяц, 7 января 1857 года, Чернышевский в письме к Тургеневу высказал большое недовольство только что появившейся третьей частью автобиографической трилогии Толстого — повестью "Юность" (хотя в письме к Некрасову от 5 декабря 1856 года отзывался об этом произведении как о вещи "недурной"). Содержание "Юности" в целом ("кроме трех-четырёх глав"), конечно, не могло удовлетворить Чернышевского за некоторый инфантилизм авторской позиции (вполне допустимый в первых двух повестях трилогии), за "манеру копать в дрязгах", за некоторое "пустословие", за "пошлости литературной кружковщины". Три-четыре главы, которые выделял Чернышевский в "Юности", это, конечно, последние главы повести, в которых изображены студенты-разночинцы. Об этих главах Чернышевский одобрительно отзывался в своей статье об "Утре помещика".

Через четыре дня после этого письма к Тургеневу, 11 января 1857 года, Чернышевский исполнил свое давнишнее намерение побывать у Толстого на его квартире (первая их встреча, как мы помним, состоялась на квартире у Панаева).

Об этом посещении записано два устных воспоминания Толстого. В 1905 году, по свидетельству П.А. Сергеенко, Толстой рассказывал ему: "Курчавый, розовый, больше молчал. Однажды пришел ко мне и начал говорить самоуверенно, что "Записки маркера" - лучшее мое произведение, что в искусстве нужна идея...".

Гораздо более обстоятельный и подробный рассказ Толстого о свидании с Чернышевским был записан его биографом П.И. Бирюковым в том же 1905 году. "Лев Николаевич помнит одно из немногих сношений своих с Чернышевским. Раз в Петербурге он готовился куда-то уезжать. Льву Николаевичу доложили, что его желает видеть господин Чернышевский. После приглашения в комнату вошел человек с робким видом, который, сев на предложенный ему стул, сильно стесняясь, стал говорить о том, что вот у Льва Николаевича есть талант, умение, но что он не знает, - что нужно писать, что вот такая вещь, как "Записки маркера", это очень хорошо, надо продолжать писать в этом духе, то есть обличительно.

Воодушевляясь более и более, он прочел Льву Николаевичу целую лекцию об искусстве и затем удалился, и больше они уже не видались".

Воодушевленная защита Чернышевским идейного искусства произвела на Толстого сильное впечатление. Он, по-видимому, только теперь как следует понял Чернышевского. В этот день он записал в дневнике: "Пришел Чернышевский, умен и горяч".

К сожалению, это была последняя встреча Толстого с Чернышевским. Толстой уехал за границу, а по возвращении бывал в Петербурге только наездами на несколько дней и с Чернышевским не виделся.

Имя Н. Г. Чернышевского связано с педагогической деятельностью Толстого и издаваемым им журналом "Ясная Поляна".

Сдавши в печать первый номер "Ясной Поляны" и ожидая его выхода, Толстой 26 января 1862 года писал В. П. Боткину: "Надеюсь, что в литературе на меня поднимется гвалт страшный, и надеюсь, что вследствие такого гвалта не перестану думать и чувствовать то же самое.

Сочувствия своим взглядам Толстой ожидал прежде всего от идейного главы "Современника" Н. Г. Чернышевского. 6 февраля 1862 года он отправил Чернышевскому следующее письмо: "Милостивый государь Николай Гаврилович! Вчера вышел 1-й номер моего журнала. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение в "Современнике". Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: "Да... "Детство" очень мило, но журнал?..". А журнал и все дело составляют для меня все. Ответьте мне в Тулу".

Вскоре Толстой ознакомился с отзывом на первые номера его журнала, появившимся в мартовском номере "Современника". Статья, появившаяся без подписи автора, была написана Чернышевским.

Когда Толстой просил известного критика, публициста и философа высказаться о его журнале, он надеялся на сочувствие со стороны Чернышевского как свободной организации его школы, так и тем своим теоретическим высказываниям, в которых он говорил о праве народа на усвоение плодов многовековой культуры человечества. Но Толстой не принял в соображение того значения, которое Чернышевский придавал общему радикальному направлению журнала, значительно расходящемуся с либерально-демократическими взглядами самого Толстого. Отзыв Чернышевского оказался не таким, какого ожидал Толстой.

Чернышевский начинает свою статью с замечаний по поводу свободы обучения в школе Толстого. Он делает большую выписку из статьи "Яснополянская школа на ноябрь и декабрь месяцы" о том, как дети приходят в школу, как рассаживаются, как начинаются занятия и т.д., и дает следующую оценку организации яснополянской школы: "Превосходно, превосходно. Дай бог, чтобы все в большем числе школ заводился такой добрый и полезный

"беспорядок" - так называет его, в виде уступки предполагаемым возражателям, автор статьи, его панегирист, - а по-нашему, следует сказать просто: "порядок", потому что какой же тут беспорядок, когда все учатся очень прилежно, насколько у них хватит сил, а когда сила покидает их или надобно им отлучиться из школы по домашним делам, то перестают учиться? Так и следует быть во всех школах, где это может быть, - во всех первоначальных народных школах".

"Такое живое понимание пользы предоставлять детям полную свободу, такая неуклонная выдержанность этого принципа подкупает нас в пользу редакции журнала, издаваемого основателем яснополянской школы", - говорит далее Чернышевский. Но после этого он сейчас же переходит к критике теоретических положений "Ясной Поляны".

Прежде всего Чернышевский высказывается по поводу выраженного в статье "О народном образовании" мнения Толстого, что народ как в России, так и за границей, "противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство". Не отрицая самого факта упорного сопротивления народа "в довольно многих случаях" "заботам об его образовании". Чернышевский объясняет его тем, что народ не есть "собрание римских пап, существ непогрешительных", что могут быть

случайные ошибки народа или его просветителей", что в народе, как и в других классах общества, встречаются как прогрессисты, так и консерваторы, что, наконец, "большою помехою учению детей простолюдинов служит бедность простолюдинов", вследствие чего "деятели народного образования должны заботиться о том, как бы улучшить материальное положение народа".

Далее Чернышевский высказывает свое несогласие с мыслью Толстого о том, что, так как народная школа должна отвечать на потребности народа, то пока эти потребности не изучены, мы не можем знать, чему и как учить народ. На это Чернышевский возражает, что было бы "неправдоподобно" полагать, что невозможно узнать "потребности и желания" "простолюдинов" "по делу образования". Затем Чернышевский выписывает из статьи "О народном образовании" отдельные места, которые он считает "дурными", и дает оценку каждому из этих мест. В одних случаях разногласия Чернышевского с Толстым касались частных вопросов, не имеющих существенного значения, как, например, вопроса о том, трудно или легко сделаться хорошим бухгалтером, верно ли, как утверждает Толстой, что студенты поступают в университет "Только под условием приманки чина"; в других случаях разногласия затрагивали важные принципиальные вопросы. Так, Чернышевский без всяких комментариев выписывает из статьи Толстого его мнение о том, что применение насилия законно при преподавании религии. По цензурным условиям Чернышевский не имел возможности высказать свое суждение об этом утверждении Толстого, но несомненно, что это место статьи "О народном образовании" было в глазах Чернышевского одним из самых "дурных" в прочитанных им двух номерах "Ясной Поляны".

Еще раз возвращается Чернышевский к мнению Толстого о том, что до тех

пор, пока не изучены потребности народа в области образования, не может быть определена и программа народной школы, и советует Толстому для разрешения его недоумения поступить в университет, после чего обращается к Толстому с такими словами: "Но вы думаете, что даже и не можете узнать, - очень жаль, если так, - но это свидетельствовало бы только о несчастной организации вашей нервной системы: если вы не можете понять такой простой вещи, как вопрос о круге предметов народного преподавания, то, значит, природа лишила вас способности приобретать какие бы то ни было знания".

Затем Чернышевский переходит к замечаниям на другую статью Толстого "О методах обучения грамоте". Против мнения Толстого, что в деле обучения грамоте "все методы одинаково хороши, каждая с известной стороны имеет преимущество над другою... и каждая имеет свои затруднения", Чернышевский возражает, что "как скоро есть два способа делать что-нибудь, то непременно один из этих способов вообще лучше, а другой вообще хуже". Чернышевский отмечает в той же статье "очень неосторожные колкости против людей, занимающихся преподаванием в воскресных школах". Здесь Чернышевский имел в виду то место из статьи "О методах обучения грамоте", где Толстой, считая несомненным, что "народная школа должна отвечать на потребности народа", писал: "Грамота же составляет только одну малую, незаметную часть этих потребностей, вследствие чего школы грамотности суть школы, может быть, очень приятные для их учредителей, но почти бесполезные и чисто вредные для народа и нисколько не похожие даже на школы первоначального образования. Вследствие того... люди, для забавы занимающиеся школами грамотности, гораздо лучше сделают, переменяя это занятие на более интересное, ибо дело народного образования, заключающееся не в одной грамотности, представляется делом не только трудным, но и необходимо требующим непосредственного упорного труда и изучения народа".

По поводу этих строк Чернышевский обращается к Толстому с такими словами: "'Это уж решительно нехорошо. Каковы бы там ни были люди, любящие народ, делающие для него все, что могут. Если вы поднимаете на них руку, от вас должны отвернуться все порядочные люди".

Резкость этого обращения Чернышевского объясняется тем, что "Современник" придавал большое значение работе воскресных школ, вскоре закрытых правительством, и считал политически недопустимым всякое дискредитирование их в глазах общества.

Чернышевский оговаривается, что своей статьей он не хочет сказать, что "редакция "Ясной Поляны" проникнута духом мракобесия". "Странные вещи", которые он находит в "Ясной Поляне", он объясняет отсутствием у редакции журнала "надлежащего знакомства с предметами, о которых она рассуждает". Чернышевский, по его словам, говорит "Ясной Поляне" "неприятную ей правду" собственно из желания, чтобы она увидела опасность компрометировать себя такими странными тирадами, дурную сторону которых не замечала прежде, конечно, только по непривычке к теоретическому анализу мыслей.

Свое общее суждение о "Ясной Поляне" Чернышевский высказывает в следующих словах: "За издание педагогического журнала принялись люди,

считающие себя очень умными, наклонные считать всех остальных людей, - например, и Руссо, и Песталоцци, - глупцами⁴, люди, имеющие некоторую личную опытность, но не имеющие ни определенных общих убеждений, ни научного образования... Но кое-что они все же читали и запомнили, и обрывки чужих мыслей, попавшие в их память, летят у них с языка как попало, в какой попало связи друг с другом и с их личными впечатлениями. Из этого, натурально, выходит хаос".

Чернышевский заканчивает свою статью замечаниями на книжки для чтения, служившие приложением к журналу Толстого. Эти книжки Чернышевский считает "лучшей частью "Ясной Поляны". Он очень хвалит язык книжек, но в то же время находит, что "в содержании вещей, рассказанных так хорошо, отразился недостаток определенных убеждений, недостаток сознания о том, что нужно народу, что полезно и что вредно для него". Такой вредной для народа Чернышевский считает помещенную в первой "Книжке" "суеверную сказку" о Федоре и Василии, в которой "черт соблазнял монаха". "А язык рассказов очень хорош", - такими словами закончил Чернышевский свою статью.

"Определенные общие убеждения", о которых говорит Чернышевский в своей статье, это, конечно, не "определенные убеждения" вообще, а убе-

⁴ Основанием для такого суждения о Толстом послужили Чернышевскому следующие строки статьи "О народном образовании": "Являются тысячи различных, самых странных, ни на чем не основанных теорий, как Руссо, Песталоцци, Фребель и т.д."

ждения революционно-демократические. Только исходя из революционно-демократических убеждений можно, по мнению Чернышевского, решать вопросы о том, "что нужно народу, что полезно и вредно для него".

Статья Чернышевского, таким образом, вышла из рамок обсуждения специально педагогических вопросов и получила характер краткого изложения общих социально-политических воззрений автора.

Но Толстой как-то не уловил принципиального характера статьи Чернышевского, которая произвела на него тяжелое впечатление теми нападка на него лично, которые в ней содержались. В своем незаконченном ответе критикам его журнала Толстой посвятил Чернышевскому следующие строки: "Упомянуть о критике "Современника" я считаю недостойным себя, что для меня тем более счастливо, что в неприличной статье этой нет ни одного довода и ни одной мысли, а только неприличные отзывы". Замечание о статье "Современника" было сделано Толстым также в примечании к статье "Воспитание и образование", где он писал: "Я боюсь полемики, втягивающей в личное и недоброжелательное пустословие, как статья "Современника". И далее: "Я прошу от критики... не голословных порицаний с известным приемом выписок с вопросительными и восклицательными знаками, доказывающими только личную антипатию... Я говорю это в особенности потому, что трехлетняя деятельность моя довела меня до результатов, столь противоположных общепринятым, что не может быть ничего легче подтрунивания, с помощью вопросительных знаков и притворного недоумения, над сделанными мною выводами". Несомненно, что и эти строки, говорящие о

не одобряемых Толстым приемах критики, были направлены против статьи Чернышевского.

Статья Чернышевского не заставила Толстого изменить его взгляды. Напротив, все те положения, против которых возражал Чернышевский, как право религиозных людей на насилие в деле преподавания религии, указание на недостатки воскресных школ, утверждение, что "грамота в том виде, в котором она преподается народу", не содействует успеху дела образования, — все эти положения Толстой с еще большей настойчивостью повторил в своих дальнейших педагогических статьях.

Только впоследствии путем самостоятельной работы мысли Толстой на иных, чем Чернышевский, основаниях пришел к заключению о том, что "наше церковное учение и преподавание его детям — величайшее преступление".

Лишь последние полгода жизни Толстого свободны от имени Чернышевского. В его отношении к нему словно борются два начала - личностное, на уровне спонтанно-эмоциональном и объективно-интеллектуальное, на философско-просветительском уровне. Убедимся в этом.

19 декабря 1888 года о статье Чернышевского (он еще жив) "Происхождение теории "благотворности" борьбы за жизнь. (Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)", напечатанной в сентябрьском номере "Русской мысли", в дневнике записано: "Статья Чернышевского о Дарвине прекрасна. Сила и ясность".

В марте 1896 года состоялся разговор Толстого с музыкальным критиком и эстетиком В.В. Стасовым об эстетических воззрениях Чернышевского. Стасов подробно изложил Толстому содержание диссертации Чернышевского "Эстетические отношения искусства к действительности" и особенно остановился на основном тезисе диссертации: "Искусство есть та человеческая деятельность, которая произносит суд над жизнью". Толстой "был поражен" и слушал с большим вниманием.

А в феврале 1908 года, по свидетельству личного секретаря Н. Н. Гусева, Толстой в разговоре вспомнил о редакции "Современника" и, в частности, о Чернышевском: "Он мне всегда был очень неприятен и писания его неприятны, а сам Некрасов был скорее приятен".

Д. П. Маковицкий, личный врач Л. Н. Толстого записывает: Толстой читает "о последних днях Чернышевского" (он умер в 1889 году) и вспоминает - "Я его в свое время не любил. Он был необыкновенно свеж, стал бредить, ходить по комнате, умер в три дня".

И за полгода до собственной кончины, по свидетельству личного секретаря В. Булгакова, читая статью Н. Русанова "Чернышевский в Сибири". Толстой сказал о Чернышевском: "Я его небольшой сторонник, но вот его прекрасные мысли о науке...". А по поводу писем Чернышевского, напечатанных в той статье, Толстой говорил: "У него много очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслей: о войне, о половом вопросе, или мысль о том, что все нравственное - разумно, а разумное - нравственно и т.д. Но очень неприятна эта

самоуверенность".

В этом последнем документе - итог более чем 50-летнего противоречивого отношения великого русского писателя и мыслителя к великому русскому энциклопедисту...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как нетрудно видеть, в поле зрения и внимания Толстого была почти вся русская литература XIX и начала следующего столетия, во всяком случае, наиболее значительные ее факты. Многочисленность и многообразие его высказываний по литературным поводам свидетельствуют о том, какое большое место художественная литература занимала в его сознании и в духовном обиходе. Не только в пору юности, но и глубоким старцем он внимательно, часто с карандашом в руках, читает и перечитывает новинки текущей беллетристики и отзывается о них иногда с похвалой, иногда с порицанием, но почти всегда возбужденно, порой страстно, обнаруживая живую заинтересованность в судьбах художественного слова. Относясь, в силу всего своего духовного склада, большей частью равнодушно или даже отрицательно к стихотворной поэзии, Толстой высказывался о ней реже и пристрастнее в сторону ее отрицания, чем о прозе. Многое ценное и яркое в области русского стихотворства прошло мимо внимания Толстого или осуждалось им огульно. Причина этого в том, что содержательная сторона художественного произведения у Толстого играла существенную роль. А большинство русских поэтов, особенно начиная с эпохи символизма, как раз этой стороной своего творчества были Толстому глубоко чужды. Тем менее могла привлечь Толстого изысканная стихотворная техника, раз она его, воспитанного на старых образцах поэзии, вообще занимала лишь в редких случаях. Но нельзя забывать хотя бы того, что редкий из писателей-беллетристов поры Толстого так глубоко воспринял и оценил поэзию Тютчева, Пушкина и Фета, как это сделал Толстой. Что же касается беллетристики, то тут все наиболее ценное и неоспоримое, за немногими исключениями, было Толстым продумано и взвешено. И многие, если не большинство суждений Толстого о русских писателях-прозаиках отличаются и силой убедительности, и зоркостью взгляда. Нравственная сила художественного создания была тем исходным пунктом, который определял собой отношение Толстого к прозе еще в большей мере, чем к стиху. Но не одной лишь моральной меркой мерил Толстой значение художественного произведения. Он требовал, чтобы все три элемента, которые он находил в подлинном создании искусства - содержание, форма и авторская искренность, - были взаимно уравновешены. Мало того: несмотря на всю категоричность сугубо нравственных и религиозных требований от искусства, заявленных в трактате "Что такое искусство?", Толстой до последних дней своей жизни высоко ценил и хвалил и такие произведения наших прозаиков, в которых он и не находил глубины и серьезности содержания, но живо чувствовал чисто

эстетические достоинства и большие поэтические достижения. Так было в отношении Чехова, Куприна.

Однажды - в 1902 году - Толстой сказал: "Я много за последнее время думал об этом: искусство существует двух родов, и оба одинаково нужны — одно просто дает радость, отраду людям, а другое поучает их". Это признание Толстого всегда нужно иметь в виду при суждении об его эстетических взглядах: оно вносит значительную поправку в прямолинейно-принципиальные положения, выраженные в трактате об искусстве. Присущая Толстому, как и всякому большому художнику, способность непосредственно отзываться на все подлинно ценное в сфере художественной культуры, независимо от моральных и религиозных мерок, неизбежно нарушала те односторонне-умозрительные схемы, которые так часто клались им в основу его суждений о роли и значении литературы и искусства.

БИБЛИОГРАФИЯ

Автобиографические, биографические и мемуарные источники, касающиеся литературных и эстетических взглядов и оценок Л.Н. Толстого, использованные в данном пособии

I.

Л.Н.Толстой. Пол.собр.соч. (Юбилейное). -В 90 т. -М.: 1928-1958: серия II - "Дневники". -Т.47-59: 1951-1954; серия III - "Письма". - Т.60-89: 1949-1957.

Л.Н.Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. - М.: 1978.

II.

Н.Н.Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1828-1890. -М.: ГИХЛ, 1958.

Н.Н.Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1891-1910.-М.: ГИХЛ, 1960.

Н.Н.Гусев. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. -Кн.1 (1828-1855).-М.: Наука, 1954.

Н.Н.Гусев. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. -Кн.2 (1855-1869).-М.: Наука, 1957.

Н.Н.Гусев. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. -Кн.3 (1870-1881). -М.: Наука, 1963.

Н.Н.Гусев. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. -Кн.4 (1881-1885). - М.: Наука, 1970.

Л.Д.Онульская. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии. -Кн.5 (1886-1892). -М.: Наука, 1979.

Издание не завершено.

III.

Д.П.Маковицкий. Яснополянские записки. — В 4т. - М.: Наука,] 979.

IV.

- В.Ф.Булгаков.* Лев Толстой в последний год его жизни. -М.: 1989.
А.Б.Гольденвейзер. Вблизи Толстого.-М.: 1959. *Н.Н.Гусев.* Два года с Л.Н. Толстым. - М.: 1973. *А.Ф.Кони.* Воспоминания о писателях.-М.: 1989.
Г.А.Кузьминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. - М.: 1986 и Киев: 1987. *А.П.Сергеенко.* Рассказы о Л.Н. Толстом: Из воспоминаний П.А. Сер-геенко.-М.: 1978.
Т.Н.Сухотина-Толстая. Воспоминания.— М.: 1981.
 Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников :В 2т. — М.: 1960 и 1978.
А.А.Фет. Воспоминания. -В 3т. -М.: 1992.

ЛИТЕРАТУРА

- Апостолов Н.Н.* Толстой и Гончаров // Толстой и о Толстом: Новые материалы. - Сб. 3. -М.: 1927.
Батюшков Ф. Ричардсон. Пушкин и Л. Толстой: К эволюции семейного романа... // Журнал Мин.нар.просв. - 1917, № 9.
Белый А. Трагедия творчества: Достоевский и Толстой. - М.: 1911.
Благой Д.Д. Читатель Тютчева - Л. Толстой // Урания: Тютчевский альманах.- М.: 1928.
Брейтбург СМ Л.Н. Толстой: О письме Белинского к Гоголю // Литературное наследство. - М.: 1951. -Т. 57.
Бурсое Б.И. М. Горький и Л. Толстой // Звезда. -1937, № 6.
Гервольская ЕА. А.С. Пушкин и Л.Н. Толстой: этико-художественная преемственность / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. -Тула: Тульск. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 1999.
Громов Л.П. Л.Н. Толстой и А.П. Чехов в их взаимоотношениях // Уч. зап. Ростовского Н/Д пед. ин-та. - 1955. - Вып. 1
Гудзий Н.К. Толстой и Лесков // Искусство. -1928, № 1-2.
Гусев Н.Н. Толстой о Пушкине: По неопубликованным материалам // Октябрь.-1937, №1.
Гусев Н.Н. Герцен и Толстой/Литературное наследство. -М.: 1941, № 41-42.
Евнин Ф.И. Чехов и Толстой //Творчество Л.Н. Толстого: Сб. статей. -М.: 1959.
Кондратьев А.С. Проблема духовного возрождения человека в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" и эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир" / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. - Тула: Тульск. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 1999.
Курляндская Г.Б. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский: Проблемы метода и мировоззрения писателей. - Тула: 1986.
Лазурский В.Ф. Л.Н. Толстой и Н.Н. Страхов // В.Ф. Лазурский. Воспоминания о Л.Н. Толстом. - М.: 1911.
Лакишин В. Толстой и Чехов. - Изд. 2-е. -М.: 1975.
Лоцинин Н.П. Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев: Творческие и личные

отношения. - Тула: 1982.

Маймин Е.А. Протопоп Аввакум в творчестве Л.Н. Толстого // Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та русск. лит. АСН СССР. - М.-Л.: 1957.-Т. XIII. '

Мендельсон Н.М. Герцен-Прудон-Толстой II Литературное наследство. -М.: 1934.-Т. 15.

Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. - В 2 т. -Пб.: 1909.

Михайлов О. Бунин и Толстой / Л.Н. Толстой: Сб.статей о творчестве / Под общей ред. Н.К. Гудзия. - М.: МГУ, 1959.

Модзалевский Б.Л. Стасов и Толстой // Л.Н. Толстой. Юбилейный сб. / Составит, и ред. Н.Н. Гусев - М.-Л.: 1928.

Мочульский В. Н.Г. Чернышевский и Л.Н. Толстой об искусстве II Рус. филолог, вест.: 1909, №3-4.

Неведомский М. Два начала: о Л. Толстом и Тургеневе // М. Неведом-ский. Зачинатели и продолжатели. —Пг.: 1919.

Нестеренко А.А. Пушкин и Л. Толстой: родство и разница творческих позиций // Материалы науч. конф. Чимкентского пед. ин-та (Казахстан). - Чимкент: 1972.

Нестеренко А.А. Л.Н. Толстой о поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. -Там же.

Нестеренко А.А. Лев Толстой о Некрасове // Русская литература: Вып. 5 / Тематич. сб. науч. тр. вузов Мин. проев. Казахской ССР. - Алма-Ата: 1975.

Нестеренко А.А. Лев Толстой о Некрасове: опыт анализа субъективных оценок // Карабиха. -Вып. второй / Ист.-лит. сб. -Ярославль: 1993.

Нестеренко А.А. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой как мыслители и художники // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. - Витебск: 2000, №1 (15).

Николаев М.П. Л.Н. Толстой и Н.Г. Чернышевский. -Тула: 1978.

Николаева Е.В. Пушкин и Лев Толстой. (Размышляя о характере сравнительного изучения) / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. -Тула: Тульск. гос. пед. ун-т им.Л.Н. Толстого, 1999.

Нуралое Э. Эстетика Толстого в оценке критики. - Ереван: 1979.

Пиксанов Н.К. Горький и Толстой // Вестник Ленингр. ун-та. -1954, №6.

Потебня А. Черновые заметки о Толстом и Достоевском // Вопросы теории и психологии творчества. - Т.V. -1914.

Путеев А.С. Типология национального характера в прозе А.С. Пушкина и "Войне и мире" Л.Н. Толстого / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. - Тула: Тульск. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого. 1999.

Ремизов В.Б. Толстой и Пушкин о "просвещенном народе" и "чистоте нравов" // Л.Н. Толстой и А.С. Пушкин: Сопричастность идей, образов, судеб / Материалы XXV Международных Толстовских чтений. - Тула: Тульск. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого. 1999.

Семенов Л.П. Лермонтов и Л. Толстой. -М.: 1914.

Толстой С.Л. Толстой о поэзии Тютчева // Толстовский ежегодник. 1912.- М.: 1912.

Успенский И.Н. Письмо Белинского к Гоголю и Л.Н. Толстой // Белинский - историк и теоретик литературы. -М.-Л.: 1949.

Успенский И.Н. Горький о Толстом: Сб. статей и материалов.—М.: 1951.

Чистякова М. Л. Толстой и Салтыков // Литературное наследство. -М.: 1934.-Т.13-14.

Чуковский К.И. Толстой и Дружинин в шестидесятых годах: По неизданным материалам // К.И. Чуковский. Люди и книги. -М.: 1960.

Чуковский К. Тургенев и Л. Толстой о "Листьях травы" // У. Уитмен. Избранные стихотворения и проза. -М.: 1944.

Шифман А.И. Чернышевский о Толстом // Л.Н. Толстой: Сб. статей и материалов. - М.: 1951.

Эйхенбаум Б.М. Пушкин и Толстой II Литературный современник. -1937, №1 -

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	2
<i>Глава 1.</i> Л.Н. Толстой в размышлениях о русской литературе (историко-литературный аналитический обзор)	10
<i>Глава 2.</i> "...человек выдающийся по силе, уму, искренности": (Л.Н. Толстой и А.И. Герцен)	35
<i>Глава 3.</i> "...вот где учишься жить": Л.Н. Толстой и И.А. Гончаров	43
<i>Глава 4.</i> Л.Н. Толстой и Н.А. Некрасов: опыт анализа творческой переключки прозаика, и поэта.....	47
<i>Глава 5.</i> Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как мыслители и художники	66
<i>Глава 6.</i> "...все нравственное - разумно, а разумное - нравственно": Л.Н. Толстой и Н.Г. Чернышевский	76
Заключение.....	86
Библиография.....	88
Литература	89